

LEIFERMAN
CEPHE
2013

BEAT THE HAT



*My perfect
oxford*



Annotation

В стародавние времена охота, рыболовство, собирание даров леса, в том числе и грибов, было не забавой, не увлечением, не страстью отдельных чудаков, но бытом, повседневностью, жизнью...

В книгу талантливого русского писателя Владимира Алексеевича Солоухина вошли его известные произведения — этюды о родной природе, посвященные `охоте` за грибами (`Третья охота`), ужению рыбы в зимний период (`Григоровы острова`) и самой обычной, казалось бы, траве — неотъемлемой части природы (`Трава`).

-
- [Владимир Алексеевич Солоухин. Трава](#)
 -
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
-

Владимир Алексеевич Солоухин. Трава

Владимир Алексеевич Солоухин (1924-1997) Трава

Ньютон объяснил, — по крайней мере так думают, — почему яблоко упало на землю. Но он не задумался над другим, бесконечно более трудным вопросом а как оно туда поднялось?

Джон Рескин

Наиболее выдающаяся черта в жизни растения заключена в том, что оно растёт.

К. Тимирязев

*Колокольчики мои,
Цветики степные.*

Л. К. Толстой

Строго говоря, я не имею никаких оснований братья за эту книгу. У меня нет ни осведомленности ботаника, чтобы я мог сообщить миру нечто новое, не известное современной науке, ни опыта, скажем, цветовода, чтобы я мог поделиться им, ни накопленных веками, а может быть, во многом интуитивных знаний знахаря, чтобы я мог обогатить народную медицину.

После пятого класса средней школы я уже не считал на цветках лепестков, не разглядывал в лупу тычинок и пестиков, не опылял кисточкой, не засушивал цветов для гербария. Я не выращивал цветов в теплицах или на

клумбах. Я не собирал таинственных трав, чтобы развешивать их на чердаке, сушить, а потом варить из них зелье и пить от разных болезней.

Некоторые травы я, правда, собирал, но все больше зверобой, зубровку, мяту и тмин, которые очень хороши для домашних настоек.

Леонид Леонов, всю жизнь разводивший кактусы и создававший время от времени бесценные коллекции этих удивительных растений, мог бы, вероятно, рассказать нечто интересное из жизни кактусов.

Рядовой работник ВИЛАРа, выезжающий каждое лето в экспедиции на поиски лекарственных трав, мог бы поделиться своими наблюдениями, присовокупив к ним несколько приключений, неизбежных во всякой экспедиции.

Индийские ученые, установившие, что травы воспринимают музыку, что музыка влияет на самочувствие и рост трав, что классическая музыка стимулирует их рост, а джаз угнетает, эти ученые смело могут братья за перо, ибо они имеют сообщить человечеству нечто новое, неслыханное, потрясающее.

Я же умею только мять траву, валяясь где-нибудь на опушке леса, набрать букет и поставить его в кувшин, сорвать цветок и поднести его к носу, сорвать цветок и поднести его женщине и просто смотреть на цветы, когда они расцветут и украсят землю.

Я косил траву, возил ее на телеге, и тогда она называлась сеном.

Я выдергивал одни травы, оставляя другие, и это называлось прополкой.

Я ел траву, когда она была щавелем, заячьей капустой, а также спаржей, луком, укропом, петрушкой, чесноком, сельдереем...

Я бродил по траве, когда на нее упадет роса. Я слушал, как шумит трава, когда подует ветер. Я видел, как трава пробивается из черной апрельской земли и

как она увядает под холодным дыханием осени. Я видел, как трава пробивается сквозь асфальт и часто поднимает, разворачивает его, как это можно сделать только тяжелым ломом.

Чаще всего это была трава. Просто трава. Сознание выделяет из нее обычно несколько травок, знакомых по названиям. Крапива и одуванчик, ромашка и василек. Еще десятка два-три. Валериану, пожалуй, не сразу отыщешь и покажешь в лесу. С ятрышником дело будет еще сложнее. Когда черед дойдет до вероники и белокудренника, не спасует только специалист.

Однажды я записал смешную историю, как мы с другом пытались выяснить название белых душистых цветов, растущих около речек и в сырых оврагах. Лесник, к которому мы обратились, обрадованно сообщил нам, что это бела трава. Теперь я знаю, то была таволга. Но лесник не знает этого до сих пор, и бела трава для него вполне подходящее и даже исчерпывающее название.

Тут невольно я вспоминаю гениальную книгу Метерлинка «Разум цветов». Метерлинк говорит, что отдельное растение, один экземпляр может ошибиться и сделать что-нибудь не так. Не вовремя расцветет, не туда просыплет свои семена и даже погибнет. Но целый вид разумен и мудр. Целый вид знает все и делает то, что нужно.

Все, как у нас. Поведение отдельного человека может иногда показаться неразумным. Человек спивается, ворует, лодырничает, может даже погибнуть. Отдельный индивид может не знать что-нибудь очень важное, начиная с истории, кончая названием цветка. Отдельный Серега Тореев может не понимать, куда идет дело и каков смысл всего происходящего с ним самим. Но целый народ понимает и знает все. Он не только знает, но и накапливает и хранит свои знания. Поэтому он богат и мудр при

очевидной скудости отдельных его представителей. Потому он остается бессмертным, когда погибают даже лучшие его сыновья.

Мой сотоварищ по перу Василий Борахвостов, узнав, что я собираюсь писать книгу о травах, стал посылать мне время от времени письма без начала и конца, с чем-нибудь интересным. Обычно письмо начинается с фразы:

«Может, пригодится и это...» Или сразу идет выписка из Овидия, Горация, Гесиода.

Чтобы подтвердить свою мысль о поэтичности и мудрости народа, несмотря на невежественность отдельных людей, выписываю полстранички из борахвостовского письма.

«Теперь о траве (эти названия я собрал за 50 лет сознательной жизни, но мне не понадобилось). Русский человек (надо бы сказать — народ, — *В. С.*) настолько влюблен в природу, что эта его нежность к ней заметна даже по названиям трав: петрушка, горицвет, касатик, гусиный лук, баранчик, лютики, дымокурка, курчавка, чистотел, белая кашка, водосбор, заманиха, душичка, заячья лапка, львиный зев, мать-и-мачеха, заячий горох, белоголовка, богородицы слёзки, ноготки, матренка, одуванчики, ладаница, пастушья сумка, горечавка, поползиха, иван-чай, павлиний глаз, лунник, сон-трава, ломонос, волкобой, лягушатник, маргаритки, мозжатка, росянка, ястребинка, солнцегляд, майник, Соломонова печать, стыдливица, северница, лисий хвост, душистый колосок, ситник, гулевник, сабельник, хрустальная травка, журавельник, копытень, пужичка, сныть, пролеска, подморенник, чистяк, серебрянка, жабник, белый сон, кавалерийские шпоры, горький сердечник, буркун, сухаревник, девичья краса, калачики, волгоцвет, золотой дождь, таволга, бедренец, купырь, золотые розги, мордовник, куль-баба, ласточник,

румянка, наперстянка, богородская трава, белорез, царь-зелье, жигунец, собачья рожа, медвежье ушко, ночная красавица, купавка, медуница, анютины глазки, бархатка, васильки, вьюнки, иван-да-марья, кукушкины слёзки, незабудка, ветреница, кошачья лапка, любка, кукушкин лен, барская спесь, бабий ум (перекати-поле), божьи глазки, волчьи серьги, благовонка, зяблица, водолуб, красавка... Сколько любви и ласки!»

Конечно, хоть и за пятьдесят лет, Борахвостов собрал не все. Достаточно заметить, что в списке нет хотя бы колокольчиков, мышинной репки, птичьей гречки, ландыша, солдатской еды, столбцов, земляники, манжетки, купальницы, зверобоя, чтобы понять, как список не полон и как можно продолжать и продолжать. Но зато в нем есть истинно народные названия, не встречающиеся в ботанических атласах.

Важно и другое. Читая все эти названия трав, отчетливо понимаешь, насколько народ знает больше, чем мы с тобой, ты да я. И что, пожалуй, мы с тобой (ты да я) просуществоваем на свете зря, если не добавим хоть медной копейки в драгоценную вековую копилку, коли иметь в виду не названия трав (которых мы с тобой, безусловно, не добавим), но всяких знаний, всякой культуры, всякой поэзии, всякой красоты и любви.

* * *

БОРАХВОСТОВ

«Я, видимо, больной человек, если я что-либо захочу узнать, то обязательно должен докопаться до нуля.

То же вышло и с золототысячником. Он не давал мне покоя.

Не может быть, чтобы наш русский народ назвал траву золототысячником. Это ни в какие ворота не лезет. Это произошло, видимо, в эпоху нашествия немцев на Россию при Петре I или при Екатерине II, которые «втихаря» колонизировали Русь, предоставляя лучшие земли немецким переселенцам. Так, например, появились немцы Поволжья и колония Сарепта (знаменитая сарептская горчица) в Сталинградской области...[\[1\]](#)

Или же золототысячник появился у нас (название, конечно) в то время, когда наша интеллигенция стала изучать немецкий язык.

Но ведь у нас в истории были времена, когда — слава богу! — не было интеллигенции, а народ — слава богу! — был, и трава тоже — слава богу! Значит, наш народ как-то называл ее. Наши древляне не ждали, пока придут немцы и назовут эту траву, а мы потом переведем ее на наш кодовый язык.

И я стал копать. И докопался. Народ ее называет и до сих пор «игольник», «грыжник», «травенка» и «турецкая гвоздика» в зависимости от области, края.

Так же в свое время я интересовался происхождением названия «бессмертник». Оказывается, в этом опять виновата наша — на этот раз не интеллигенция, а аристократия. Привыкнув с детства балакать по-французски, они название этих цветов (травы) просто перевели с французского. Там она называется «имморти», это в переводе и означает — «бессмертник». А наш великий народ называет эту траву «неувядка», «живучка». Куда там французикам тягаться с нами в любви к природе. «Бессмертник» и «неувядка» — канцелярщина и поэзия!

Еще нашел я тебе о траве в некоторых книгах. Вот «Записные книжки» Эффенди Капиева.

«Как бедны мы, горцы! Как беден наш язык! Виноград у нас называется «черный цветок», подсолнух у нас называется «пышный цветок», розу у нас зовут «многознающий цветок» (с. 198).

Это я привел для сравнения с нашими многообразными и многозначительными названиями трав. А теперь — Куприн:

«Для своего обихода, для своих несложных надобностей русский крестьянин обладает языком самым точным, самым ловким, самым выразительным и самым красивым, какой только можно себе представить. Счет, мера, вес, наименование цветов, трав...» (Куприн, «Бредень»).

Примечание: И это писал человек, знавший немецкий и французский!

— Вы бы, мужички, сеяли мяту. Э... вы бы мяту сеяли (Лев Толстой, «Плоды просвещения»).

Примечание: Так аристократ Вово учил крестьян сельскому хозяйству.

Снова Куприн:

«Обхожу его (древнеримский цирк. — *В. С.*) по барьеру. Кирпич звенит под ногами, как железный, кладка цементная, вековая, в трещинах выросла тонкая трава, иглистая, жесткая, прочная, терпкая. Вот и теперь она лежит передо мной на письменном столе. Я без волнения не могу глядеть на нее» («Лазурный берег»).

«Потом Зоя затуманилась, развздохалась и стала мечтательно вспоминать Великую неделю у себя в деревне.

— Такие мы цветочки собирали, называются «сон». Синенькие такие, они первые из земли выходят. Мы

делали из них отвар и красили яйца. Чудесный выходил синий цвет» («По-семейному»).

Примечание: Зоя — проститутка.

«Сегодня троица. По давнему обычаю, горничные заведения ранним утром, пока их барышни еще спят, купили на базаре целый воз осоки и разбросали ее, длинную, хрустящую под ногами, толстую траву, всюду: в коридорах, в кабинетах, в зале» («Яма»).

Примечание: У нас в Волгоградской области посыпают полы богородской травой, на Украине — чабрецом. Есть о травах и у Марко Поло, но я не выписывал, а память изменяет, начинается склероз. Да и читал-то я его лет сорок назад.

Жером Бок. «Книга трав» издана в 1557 году. Есть в нашей библиотеке. (В библиотеке Центрального Дома литераторов. — В. С.) В ней много интересного, вплоть до средневекового салата из крапивы, листьев фиалки и репейника. Без уксуса (тогда еще не знали его) и без масла (оно в то время считалось роскошью). В салат для остроты прибавляли хрен.

Я еще покопаюсь в записных книжках. Привет!»

* * *

Существует точное человеческое наблюдение: воздух мы замечаем тогда, когда его начинает не хватать. Чтобы сделать это выражение совсем точным, надо бы вместо слова «замечать» употребить слово «дорожить». Действительно, мы не дорожим воздухом и не думаем о нем, пока нормально и беспрепятственно дышим. Но все же, неправда, — замечаем. Даже и

наслаждаемся, когда потянет с юга теплой влагой, когда промыт он майским дождем, когда облагорожен грозowymi разрядами. Не всегда ведь мы дышим равнодушно и буднично. Бывают сладчайшие, драгоценные, памятные на всю жизнь глотки воздуха.

По обыденности, по нашей незамечаемости нет, пожалуй у воздуха никого на земле ближе, чем трава. Мы привыкли, что мир — зеленый. Ходим, мнем, затаптываем в грязь, сдираем гусеницами и колесами, срезаем лопатами, соскабливаем ножами бульдозеров, наглухо захлопываем бетонными плитами, заливаем горячим асфальтом, заваливаем железным, цементным, пластмассовым, кирпичным, бумажным, тряпичным хламом. Льем на траву бензин, мазут, керосин, кислоты и щелочи. Высыпать машину заводского шлака и накрыть и отгородить от солнца траву? Подумаешь! Сколько там травы? Десять квадратных метров. Не человека же засыпаем, траву. Вырастет в другом месте.

Однажды, когда кончилась зима и антифриз в машине был уже не нужен, я открыл краник и вся жидкость из радиатора вылилась на землю, там, где стояла машина — на лужайке под окнами нашего деревенского дома. Антифриз растекся продолговатой лужей, потом его смыло дождями, но на земле, оказывается, получился сильный ожог. Среди плотной мелкой травки, растущей на лужайке, образовалось зловещее черное пятно. Три года земля не могла залечить место ожога, и только потом уж плешина снова затянулась травой.

Под окном, конечно, заметно. Я жалел, что поступил неосторожно, испортил лужайку. Но ведь это под собственным окном! Каждый день ходишь мимо, видишь и вспоминаешь. Если же где-нибудь подальше от глаз, в овраге, на лесной опушке, в придорожной канаве, да, господи, мало ли на земле травы? Жалко ли ее? Ну, высыпали шлак (железные обрезки, щебень,

бой-стекло, бетонное крошево), ну, придавили несколько миллионов травинок. Неужели такому высшему, по сравнению с травами, существу, как человек, думать и заботиться о таком ничтожестве, как травинка. Трава? Трава она и есть трава. Ее много. Она везде. В лесу, в поле, в степи, на горах, даже в пустыне... Разве что вот в пустыне ее поменьше. Начинаешь замечать, что, оказывается, может быть так: земля есть, а травы нет. Страшное, жуткое, безнадежное зрелище! Представляю себе человека в безграничной, бестравной пустыне, какой может оказаться после какой-нибудь космической или не космической катастрофы наша земля, обнаружившего на обугленной поверхности планеты единственный зеленый росточек, пробивающийся из мрака к солнцу.

Не помню где, в воспоминаниях какого-нибудь революционера, я вычитал трогательную историю о травинке.

Арестанту, заключенному в одиночке, принесли из большого мира стопу книг. Кроме самого арестанта в камере не было ничего живого. Каменные стены, железная кровать, тюфяк, набитый мертвой теперь соломой, табуретка, сделанная из бывшего живого дерева.

Ученый человек тотчас прервет меня и скажет, что плесень в углу тоже есть жизнь и разные там бактерии в воздухе... Но не будем педантами. Забудем даже про то, что в тюремном тюфяке могли водиться совсем уж живые существа. Будем считать условно, что кроме самого арестанта никакой жизни в камере не было. И вот ему принесли стопу книг. Он стал книги читать и вдруг увидел, что к книжной странице прилипло крохотное, право же, меньше булавочной головки семечко. Арестант аккуратно это семечко отделил и положил на лист бумаги.

Непонятное волнение охватило его. Впрочем, если вдуматься, то волнение арестанта можно понять.

Как дышим воздухом, точно так же бездумно мы обдуваем головки одуванчиков, раздавливаем в пальцах созревшую ромашку, пересыпаем с ладони на ладонь сухое зерно, лузгаем семечки подсолнуха, щелкаем кедровые орешки.

Но в особенной обстановке, в безжизненном (как мы условились) каменном мешке, в оторванности от обыденной жизни планеты, арестант посмотрел на семечко другими глазами. Он понял, что перед ним на листе бумаги лежит величайшее чудо из всех возможных чудес и что все это поистине величайшее чудо (и в этом еще дополнительное чудо) помещается в крохотной, едва различимой соринке.

При своем тюремном досуге арестанту не трудно было вообразить, что, допустим, оголилась земля и осталось от бывшего пышного изобилия, от роскошного даже, как бы праздного зеленого царства, одно это, последнее, случайно прилипшее к книжной странице, семечко.

Ну да, в одной коричневой легковесной шелушинке могут скрываться гигантский сосновый ствол, крона, подобная зеленому облаку, и даже впоследствии целая сосновая роща. Или бело-розовые яблоневые сады, если взять глянцевого, лакового, остренького с одного конца зернышко яблока, или колосющееся пшеничное поле, если взять столь знакомое всем пшеничное зерно.

Но как узнать, что скрывается в семечке, если оно не знакомо нам по своему внешнему виду? Сумев увидеть и понять в семечке великое чудо, наше сознание невольно делает еще один шаг и тотчас натывается на глухую, абсолютно черную, непроницаемую завесу, отделяющую нас от тайны тайн.

Если бы в распоряжение арестанта, обладающего таинственным семечком, были отданы все современные

химические и физические лаборатории мира с их сложными реактивными, утонченными анализами и электронными микроскопами, если бы эти лаборатории изучили каждую клетку семени, если бы они после клетки добрались потом до молекулы, до атома, до атомного ядра, если бы они даже расщепили все атомы, из которых составлено семя, они все же не сумели бы приподнять черной завесы и не узнали бы, какое растение (какой формы листья, какого цвета, какого вкуса плоды) заключено в семечке, так просто лежащем на листе бумаги, перед вопрошающим, но бессильным взглядом человека.

Короче говоря, все ученые мира, вооруженные современными знаниями и современной техникой, не смогли бы все равно помочь тому арестанту и прочесть ту программу, которая вложена в семечко и у которой только две судьбы в этом мире. Либо погибнуть вместе с семечком при неблагоприятных условиях, либо включиться, прийти в действие, в осуществление и тогда показать, проявиться и сделаться видимой для простого человеческого глаза. И тогда чудо превратилось бы в повседневность и будни: одуванчик, подорожник, ромашка с белыми лепестками, ядреная морковка или душистый укроп (порезать в суп).

Завеса остается непроницаемой.

Что из того, что мы вмешиваемся в жизнь растения, скрещиваем, создавая всякие черемухо-вишни, картофеле-томаты и много всего мичуринского. Все равно мы манипулируем при этом с видимыми результатами тайной программы, с цветами, почками, ветками, а не с самой программой, зашифрованной надежным шифром.

Так радиотехник может уметь починить приемник, хорошо разбираясь в проводочках и гаечках, но ничего не знать о теоретической сущности радиоволн. Так наши пращуры пользовались огнем, не сознавая, что

тут происходит соединение веществ с кислородом, бурное окисление, сопровождаемое выделением тепла и света. Так мы пользуемся теплом и светом напропалую, все еще не зная их конечной, а вернее, начальной сути.

Но подобные рассуждения увели бы нас далеко, а главное, совсем развеяли бы ту обстановку романтичности и таинственности, которая создавалась в одиночной камере Шлиссельбургской крепости, когда заключенный обнаружил в книге неизвестное, случайное семечко. У заключенного не было другого способа разгадать тайну, кроме как посадить семечко в землю и предоставить дальнейшее самой природе.

Тюремный ли режим тех времен допускал подобные сантименты, по сговору ли со сторожем, но у арестанта появилась банка с землей. Дрожащими руками человек опустил семечко в землю, и оно тотчас потерялось в ней. Теперь, если бы человек снова захотел отыскать семечко и отдельно положить его на бумагу, то вряд ли ему это удалось. Семечко измазалось в земле, само стало как земля, слиплось, слилось с остальной массой, относительно огромной, если даже и всего-то земли было там треснутый негодный горшок.

В красивой классической легенде узник поливает цветок в темнице своими слезами. В нашем, не столь уж романтичном случае обошлось без слез, но можно было из своей кружки отдавать немного цветку. Впрочем, пока еще не цветку, а черной земле, хранящей тайну поглощенного ею семечка.

Если бы я обладал точными ботаническими знаниями, я написал бы, на который день произошло произрастание семени и как именно выглядел первый, высунувшийся из земли росточек. Из книжки, прочитанной мною давным-давно и наполовину забытой, явствовало лишь, что семечко, найденное прилипшим к странице, в конце концов проросло и что

это очень обрадовало человека. Да и как могло не обрадовать. Дело было не только в том, что затея удалась, но и в том, что та завеса, которая, как мы предполагали, абсолютно непроницаемая для человека, вдруг прираздвинулась сама собой, показав сокровенное и чудесное.

Чудо, к которому мы так привыкли только потому, что оно происходит вокруг нас всегда в миллионно-миллиардном повторении, но тем не менее все-таки самое подлинное чудо начало происходить и разворачиваться на глазах у потрясенного узника, как награда за его внимание и терпение.

Первым делом из земли показалось нечто нежно-зеленое и при тщательном рассмотрении (без рук, без дотрагивания, конечно, — замерла душа) нечто собранное в комочек, в щепотку и покрытое прилизанными серебристыми ворсинками, отчего и выглядело вовсе не столько зеленым, сколько серебристым.

Счастливый сеятель (если можно назвать счастливым человека, сидящего в тюрьме, но все равно счастливый относительно того маленького дела, о котором идет речь), наверное, наблюдал за развитием растения, как теперь наблюдает иногда замедленная кинокамера, в объективе которой наглядно разворачиваются листья и раскрываются бутоны цветов. Нам приходится следить за растениями рывками, и вот, во-первых, обнаруживается, что серебристый росток подрос еще и развернулся вдруг в два самостоятельных отдельных листа. Листья при этом получились не простые, а строенные, разрезанные. Три овальных, зубчатых по краям плоскости сходятся в одной точке, образуя розетку. Можно и так сказать, тонкий стебелек, поднявшись из земли и дорастая до определенной высоты, растроился, разбежался на три жилки. Каждая жилка сделалась осью зеленой овальной плоскости. Три

жилки, три плоскости, а в целом — один тройной лист. Сверху он получился почти темного зеленого цвета и если не глянцевый, то, во всяком случае, гладкий, снизу же матовый, серебристый. Стебелек, вознесший лист над черной материнской землей, — тонкий, круглый в сечении и весь покрыт мелким нежным пушком. Зачем ему этот пушок, мы не знаем (растут же другие без пушка!), но, значит, зачем-нибудь нужен.

Два стебелька подняли два листа, подставив тем самым свету две огромные, грандиозные, в масштабах посеянного зернышка, зеленые плоскости. Эти светоуловители сразу же начали действовать. Сверхсложная и сверхточная химическая лаборатория заработала на всю мощь. Вскоре двух светоулавливающих плоскостей оказалось мало, и были выставлены еще две дополнительные плоскости. Потом появился и быстро перерос все растение еще один тонкий стебель. Однако он не торопился увенчивать себя листом, но разделился на два отдельных, еще более тонких стебелька. На конце каждого из них возникло по островерхой зеленой шишечке, очень похожих на миниатюрные церковные луковки.

Эти луковки-маковки росли не по дням, а по часам, набухали, что-то распирало их изнутри, словно некие гномы под землей день и ночь работали насосами, нагнетая подземную силу и в листья, и в стебель, и в островерхие шишечки. И вот — стебелек держится прямо, не сгибается и не никнет. Огромные зеленые плоскости, сочные и потому, безусловно, тяжелые, держатся горизонтально, а не повисают, как тряпки. Островерхие шишечки раздуваются и того гляди лопнут.

Настал день, когда шишчатые бутончики действительно не выдержали внутреннего напора, лопнули, и два ослепительно-белых цветка озарили сырую тюремную камеру.

Напрасно было бы гадать и спрашивать, где взяло растеньице такой нежный и белый материал, как оно сумело соткать такие чистые тонкие лепестки, по пяти на каждой цветке. Где взяло оно и яркого желтого материала на круглую шишечку в середине цветка и на крохотные булабочки, натканные в эту шишечку со всех сторон.

Сравнительно с самим собой семечко подняло эти цветы на головокружительную высоту, если учесть, что стебель у куста лесной земляники около двадцати сантиметров, а семечко земляничное в одном миллиметре уложится не четыре ли раза.

Значит, цветок цветком, кустик кустиком, но больше всего это похоже на мощный зеленый взрыв неведомой энергии, сконцентрированной и сжатой, до времени упакованной в весьма экономную портативную упаковку мельчайшего семени.

Кустик был красив, а вернее сказать — прекрасен. Два листа, протянувшихся горизонтально, держались почти около земли. Три стебля росли прямо вверх и поддерживали там каждый по листу... Еще один стебель держал два белых цветка. Все вместе радовало глаз законченностью, стройностью и той разумностью, которая не поддается анализу и объяснению, но которая воспринимается тем не менее человеком, может быть, потому, что и сам он содержит в себе частицу все той же разумности, а вернее, является ее частицей.

Откуда ни возмись, проклюнулся и быстро вытянулся новый гибкий стебель, значительно тоньше остальных, снабженный на конце утолщеньем. Этот стебель не стремился держаться прямо, в нем не было жесткости, которая позволила бы потом держать лист или цветок. Он вытягивался в длину, но все время тяготел к земле, словно искал соприкосновения с ней.

Сколько ни гадал терпеливый наблюдатель, что разовьется из утолщения на конце этого нового, странно ведущего себя стебелька — цветок или лист, ничего не выходило. Чем длиннее вытягивался стебель, чем дальше уносил он от куста свою утолщенную головку, тем настойчивее искала головка желанной влажной земли. Но витала она в бесплодной пустоте, потому что в поисках земли стебель унес ее за пределы той банки или того горшка, где расцвел коренной куст. И ежели новоявленный садовод догадался подставить под шарящую в пустоте округлую головку новую банку с землей, то она дотронулась бы до нее, раздвинула бы наружные комочки, вонзилась в глубь земли, пустила бы корни. Так растение, преодолев свою корневую прикрепленность к одному месту, сделало шаг в пространстве. Шаг небольшой, но зато надежный.

Конечно, шагнуло растение и тогда, когда сумело прилепить свое семечко к книжной странице, и когда книгу увезли, может быть, за тысячу верст от того места, где семечко вызрело, и передали в тюрьму, а оно все ждало своего часа и, как нетрудно это понять, могло бы ничего не дожидаться. Но это даже не шаг, а целый космический перелет.

Правильно ли написать о растении, что оно «сумело прилепить свое семечко»? Не сознательно же оно его прилепило? Да. Но зачем оно вырабатывало сложную сочную, ароматную ягоду? Только затем, чтобы этой ягодой кто-нибудь напился. Проще всего, если склюет птица. Тогда — путешествие на крыльях. Птица уронила бы семечко, пролетая над лесом, и это был бы для растения тоже шаг в пространстве. Собственно, на птицу и был основной расчет, а вовсе не на книжную страницу. Но так же, как у людей, бывают, оказывается, и у семян необыкновенные, приключенческие, прямо-таки фантастические судьбы. Например, пролежать сорок веков в гробнице египетского фараона, а потом

прорасти в парижской лаборатории. Согласимся, что и наше семечко постигла именно такая приключенческая судьба.

Но растение полно реализма. Оно не доверяет случаю. Романтика ему ни к чему. Оно выбрасывает гибкий стебель с шишечкой на конце и в десяти — двадцати сантиметрах от себя укореняет новый куст. На птицу надейся, а сам не плошай. Маленький шажок, но зато надежный.

Арестант, в своих изданных впоследствии воспоминаниях, утверждал, что у него в жизни ни до тюрьмы, ни в тюрьме (естественно), ни после тюрьмы не было радости более полной и острой, нежели та, которую подарила ему земляника, выросшая в разбитой плошке.

Глоток воздуха, когда человек задыхается. Зеленая живая травинка, когда человек совсем отрезан от природы. А вообще-то — трава. Скобли ее ножами бульдозеров, заваливай мусором, заливай горячим асфальтом, глуши бетоном, обливай нефтью, топчи, губи, презирай...

А между тем ласкать глаз человека, вливать тихую радость в его душу, смягчать его нрав, приносить успокоение и отдых — вот одно из побочных назначений всякого растения и в особенности цветка.

Какой-то восточный мудрец учил: если хочешь быть здоровым, как можно больше смотри на зеленую траву, на текучую воду и на красивых женщин. Некий практик захотел уточнить: нельзя ли ограничиться только третьим, а травой и водой пренебречь? «Если не будешь смотреть на зеленую траву и текучую воду, на женщин не захочется смотреть само по себе». Так ответил мудрец.

Но любуясь и даже наслаждаясь растением, не каждый, может быть, вспоминает, что перед ним, кроме того, сверхсложный работающий химический кабинет.

В книге о грибах под названием «Третья охота» я истратил порох, отпущенный мне для прославления земляники. Переписывать, пусть свое же, из одной книги в другую излишне. Лучше я перепишу частично то, что говорит о землянике Михаил Андреевич Носаль, которого я назвал бы знахарем с высшим образованием.

«При чтении перечня болезней, которые лечат ягодами и листьями, а также стеблями земляники, собранными в цвету, у читателя невольно возникает вопрос: почему же так полезна земляника? Ответом на этот вопрос в известной степени может служить ознакомление с богатым химическим составом, которым обладает невинная дикая ароматная ягода. Как свидетельствует ряд источников, в составе земляники прежде всего известны:

1. Многие натроны и кислоты (яблочная, лимонная, хинная). 2. Дубильные вещества. 3. Салицил. 4. Пигменты или красящие вещества. 5. Летучие масла. 6. Сахары. И наконец: 7. Витамины, особенно витамин С.

Из всех известных мне дикорастущих лекарственных растений я не знаю более богатого, пожалуй, по химическому составу растения, чем наша земляника. В землянике, я уверен, имеются и другие, еще не изученные лечебные вещества. Вот почему она так полезна.

Земляничный сезон обыкновенно продолжается у нас от 3 до 4 недель. Если бы мы правильно использовали этот сезон несколько лет кряду (года 2-3), мы бы реже нуждались в курортах... На курорты раньше имели возможность ездить не все больные. Однако приходилось наблюдать, что и без курортов больные вылечивались земляникой. Лечение земляникой в народе популярно.

Многие в народе знают, что такое земляника, пользуются ею, и от нее получают исцеление.

При лечении земляникой просто едят ее сырую, но не вареной или сушеной. Едят одну или с молоком, сливками, молодой сметаной, с сахаром (иногда с вином). Из личной практики и наблюдений над самим собой прихожу к заключению, что ее можно и нужно есть так много, чтобы на третьей неделе она настолько надоела, что нужно заставлять себя есть ее. Давайте ее детям, давайте много. Не жалейте средств на приобретение земляники. Не считайте ее баловством или роскошью, а считайте ее необходимой, как хлеб, крупу, картофель...

...Не умаляя достоинства чая, как общеизвестного напитка, скажу одно, что если бы прижился такой же напиток из листьев земляники, как чай, здоровье людей при этом только выиграло бы...

...По действию на организм похожа на землянику еще одна ягода — черника. Кнейп по поводу этих ягод оставил нам такой афоризм: «В том доме, где едят землянику и чернику, врачу нечего делать».

* * *

БОРАХВОСТОВ

«Володя, может, пригодится и это...

О траве лук — личные наблюдения. Народу исстари известно, что «лук — от семи недуг», «кто сеет лук, тот избавится от мук», «лук да баня — все правят». Это его целебное действие я наблюдал лично. В 1935 году меня черти носили (по командировке Главзолото) около двух лет по золотым приискам Якутии и Дальнего Востока.

Так летом мы (старатели и я) спасались от цинги диким луком.

Во время войны, когда наша дивизия дралась на Ленинградском направлении, то во время блокады кое-

кто из дистрофиков находил в себе силы перейти через линию фронта. Кормить их солдатской пищей было бесполезно. Они умирали от нее. Их кишки уже присохли к спине. Но в одной деревне нашлась старуха, которая спасала дистрофиков от смерти. Она перетирала зеленый лук в зеленую кашицу, сдабривала его сметаной и кормила их этой жевкой. Только одним луком. И больше ничем. Порция — не меньше миски. Я думал, что они «дадут дуба», а получилось наоборот. После лечения этим заслуженным деятелем знахарства они на другой день уже могли принимать нормальную шамовку.

Еще о луке.

В средние века, в эпоху крестовых походов лук был очень дорог. Он считался панацеей от всех болезней. О его стоимости можно судить по тому, что в 1250 году французы выменивали своих пленных у сарацинов по цене 8 (восемь) луковиц за одного человека.

В древности лук служил наглядным пособием по астрономии. Учитель разрезал луковицу и по ее слоистому строению объяснял строение вселенной, якобы состоящей из нескольких сфер — оболочек, окружающих землю.

Теперь трава — перец. О ее целебных свойствах Ф. Ф. Талызин (врач-биолог, советник по вопросам медицины в Представительстве СССР при ООН) в своей книге «Под солнцем Мексики» пишет (с. 61): «Заметив действие на меня перца, дон Плетч (мексиканский врач) поясняет обычай пользования им в каждом блюде.

— Видите ли, — говорит он энергично, направляя картошку с перцем в рот, — в Мексике довольно часты желудочно-кишечные заболевания, дизентерия и летние диареи (понос. — В. Б.). Чтобы избежать их, тут принято широко добавлять в пищу перец. Он наилучший защитник от болезней. Советую и вам побольше перчить содержимое тарелки».

Жозуэ де Кастро в своей книге «География голода» пишет: «Хронически недоедающие люди почти не замечают отсутствия пищи. Чувство голода у них ослаблено, а иногда и вовсе исчезает. Чтобы возбудить притупленный аппетит, хронически голодающие народы часто вынуждены стимулировать его различными возбуждающими средствами, такими, как перец и прочие острые специи, что, например, имеет место в Мексике».

Записки, сделанные мной, когда я был еще студентом рабфака. Интересуюсь народной медициной, я побеседовал со старой — 93 года — казачкой, известной в то время знахаркой, которая была неграмотна и ни хрена не знала в анатомии, но великолепно вправляла вывихи.

Вот ее рецептура:

Донские степи, как известно, покрыты полынью. Поэтому она была ингредиентом любой микстуры.

Так, например, расстройство желудка народ лечил полынью с небольшой примесью «травы-дивины» (что это за трава, я не знаю).

От простуды лечили той же полынью, но только настоянной на водке с примесью белоголовника или золототысячника.

Полынь же входила в настойку, которой лечили больных коклюшем, рожей, дизентерией и лихорадкой. Подорожником пользовали гнойные раны, нарывы и зубную боль.

От кашля хорошо помогал настой на репьях, выдранных из собачьих хвостов. Когда я поинтересовался у колдуньи — почему именно из собачьих хвостов? Она объяснила, что собаки уносят на своих хвостах только самые спелые репы.

Камни в печени и мочевом пузыре лечили соком редьки.

Жар сбивали малиной, липовым цветом и бузиной.

Людей, покусанных бешеными собаками, лечили соком молочая. Технология лечения укушенных бешеными собаками была такова:

Знахарка ставила на стол икону и перед ней разжигала в миске древесные угли. Помешивая их серпом (а не чем-нибудь еще), она шептала:

— Царь-огонь разгорается. Царь-железо накаляется. Царь-железо царь-огню покоряется. Репей-трава прилипчива. Больное сердце сбивчиво. Сердце на место стань! Хворь бесова перестань! Уйди болезнь лихого зуба, дурного духа бешеной собаки! Будь мое слово крепким, твердо-крепким, тверже самого твердого белгорюч-камня. Шел на Голгофу Иисус Христос, крест тяжелый на себе нес. Ты помахай Иисус крестом — мясоедом и постом! Отгони хворости-напасти от бешеной пасти! Аминь, аминь, аминь!

А потом на рану прикладывались листья подорожника...

А теперь — забавное о траве.

Я не знаю, как это делается у вас во Владимирщине, а у нас на Волге и на Дону, если хозяйка не желает, чтобы курица стала наседкой, то как только она «распадется» и начинает квохтать, то ее ловят и, обнажив задницу, бьют крапивой. Это помогает. Будущая наседка теряет всякий интерес к воспроизведению потомства и продолжает нести яйца...

...Кузьмичевскую траву поставлял главным образом Бузулук, в окрестностях которого ее очень много. Она якобы помогала от 40 (сорока) болезней...

...Душевные болезни и ипохондрию древние лечили чемерицей. Об этом есть как у древних греков, так и у римлян. Видимо, нет дыма без огня...

...В Японии выведены съедобные сорта хризантем. Из их лепестков делают салат. Высушенные лепестки идут на врачевание. Ими лечат простуду и употребляют как аппетитные капли...

«Луговая и степная трава настолько отличаются друг от дружки, что это понимают не только люди, но и скотина. Траву она предпочитает степную, а сено — луговое. Это я знаю по своему личному опыту, когда пас коров и овец. Мой хозяин, как опытный крестьянин, выбрал место для своего хутора на грани луга и степи, и скотина, выгоняемая мной на рассвете, обычно тянулась в степь, а не на луг, а хозяин предпочитал луг, а не степь: больше нагула, больше молока, и оно лучше по вкусу, ибо все женщины Волгограда и до сих пор, покупая молоко, спрашивают:

— Степное или луговое?

Или, не доверяя торговцам, пробуют.

А мясо — наоборот, лучше степное.

Научного объяснения этому, то есть разницы между лугом и степью, я не знаю, но думаю, что степи моей области слегка солоноваты, и та трава, что там растет, имеет соленый привкус, то есть является чем-то вроде салата, приготовленного природой. Луговая же почва каждый год промывается полкой водой в течение двух месяцев, но зато «ассортимент трав» там лучше и они «жирнее».

Мясо в сыром виде, конечно, нельзя отличить степное от лугового. Поэтому женщины задают продавцам коварный вопрос;

— Из какого района ваше мясо?

Но продавцы тоже не дураки. Они говорят то, что нужно...

...Собаки и кошки лечатся травами.

Снова Куприн:

«— Помнишь, как мы с тобой — тебе было одиннадцать лет, а мне десять — как мы ели с тобой просvirки и какие-то маленькие пупырышки на огороде детской больницы?

— Конечно, помню! Такой сочный стебель с белым молоком.

— А свербигус? Или свербига, как мы ее называли?

— Дикая редька?

— Да, дикая редька!.. Но как она была вкусна с солью и хлебом!» (А. Куприн, «Травка»).

...Пифагор был вегетарианцем. Он поучал жить на подножном корму. Питаться травкой. Овидий отобразил это в своих «Превращениях»: «Не оскверняйте, люди, своих уст нечистой пищей! Есть у нас деревья, есть яблони, склонившие ветви свои под тяжестью плодов, есть на лозах зрелый виноград, есть сладкие овощи, которые можно употреблять в пищу, если сварить их в воде».

...Толстой (Лев, конечно, ибо в литературе было много Толстых, но только один из них Лев, даже с маленькой буквы) любил, чтобы в его кабинете всегда лежала охапка сухой травы (сена).

Пока все. Но где-то есть еще кое-что записанное. Привет. Борахвостов В.».

* * *

Лежать на траве. Опуститься, опрокинуться навзничь, раскинуть руки. Нет другого способа так же плотно утонуть и раствориться в синем небе, чем когда лежишь на траве. Улетаешь и тонешь сразу, в тот самый миг, как только опрокинешься и откроешь глаза. Так тонет свинцовая гирька, если ее положить на поверхность моря. Так тонет напряженный воздушный шарик (ну, скажем, метеорологический зонд), когда его выпустишь из рук. Но разве есть у них та же стремительность, та же легкость, та же скорость, что у человеческого взгляда, когда он тонет в беспредельной

синеве летнего неба. Для этого надо лечь на траву и открыть глаза.

Еще минуту тому назад я шел по косогору и был причастен разным земным предметам. Я, конечно, в том числе видел и небо, как можно видеть его из домашнего окна, из окна электрички, сквозь ветровое стекло автомобиля, над крышами московских домов, в лесу, в просветах между деревьями и когда просто идешь по луговой тропе, по краю оврага, по косогору. Но это еще не значит — видеть небо. Тут вместе с небом видишь и еще что-нибудь земное, ближайшее, какую-нибудь подробность. Каждая земная подробность оставляет на себе частицу твоего внимания, твоего сознания, твоей души. Вон тропа огибает большой валун. Вот птица вспорхнула из можжевельного куста. Вон цветок сгибается под тяжестью труженика-шмеля. «Вот мельница. Она уж развалилась».

Ты идешь, а окрестный мир снабжает тебя информацией. Эта информация, по правде говоря, не назойлива, не угнетающая. Она не похожа на радиоприемник, который ты не волен выключить. Или на газету, которую утром ты не можешь не пробежать глазами. Или на телевизор, от которого ты не отрываешься в силу охватившей тебя (под влиянием все той же информации) апатии. Или на вывески, рекламы и лозунги, которыми испещрены городские улицы.

Это иная, очень тактичная, я бы даже сказал — ласковая информация. От нее не учащается сердцебиение, не истощаются нервы, не грозит бессонница. Но все же внимание твое рассеивается лучами от одной точки ко многим точкам.

Один лучик — к ромашке (не погадать ли на старости лет — и тут далеко уводящая цепочка ассоциаций), второй лучик — к березе («чета белеющих берез»), третий лучик — к лесной опушке («когда в листве сырой и ржавой рябины заалееет гроздь»),

четвертый — к летящей птице («Сердце — летящая птица, в сердце — щемящая лень»), и пошла лучиться, дробиться душа, не скудея, не истощаясь от такого дробления, но все же и не сосредоточиваясь от многих точек к одной, как это бывает в минуты творчества, в минуты — вероятно — молитвы да еще вот когда останешься один на один с бездонным небом. Но для этого надо опрокинуться в летнюю траву и раскинуть руки.

Между прочим, хватит у неба глубины для тебя и в том случае, если по небу будут неторопливо и стройно двигаться белые полчища облаков. Или если эти облака будут нежиться в синеве неподвижно. Но лучше, конечно, чистая синяя бездна.

Лежишь на траве? Купаешься в небе? Летишь или падаешь? Дело в том, что ты и сам потерял границы. Ты стал с небо, а небо стало с тебя. Оно и ты стали одно и то же. Не то летишь, возносясь — и это полет по стремительности равен падению, не то падаешь — и это падение равно полету. У неба не может быть ни верха, ни низа, и ты это, лежа в траве, прекрасно чувствуешь.

Цветочная поляна — мой космодром. Жалкими представляются отсюда, с цветочной поляны (где гудит только шмель), бетонированные взлетные дорожки, на которых ревут неуклюжие металлические самолеты. Они ревут от бессилия. А бессилие их в том, что они не могут и на одну миллионную долю процента утолить человеческую жажду полета, а тем более его жажду слиться с простором неба.

Вот, допустим, — прозой пересказываю к случаю свое давнее стихотворение, — ты не в силах больше терпеть. Ты жил на земле и с усладой смотрел на белые плывущие облака. Вся твоя сущность тянулась ввысь. Улететь в небо, раствориться в нем, что может быть желаннее, слаще? Судорожно отсчитываешь ты тридцать рублей, нетерпеливо топчешься у весов, где

сдают чемоданы, потом около трапа, по которому поднимаются в самолет. Скорее садись в кресло. Уши твои забивает грохотом. Каждая твоя клетка неприятно и болезненно вибрирует вместе со стенками самолета.

Ну что же, вот она, твоя синь, вот они, твои облака. Скопление сырости и тумана. По стеклу иллюминатора бегут бесконечные капельки воды. Около желудка тошнотворно сжимает. Назовите мне человека, который, летя в самолете, вожаделенно смотрел бы вверх, на небо, а не вниз, на землю.

Внизу между тем лес, похожий больше на мох. Речка, словно серебристая нитка. Около речки — зеленая поляна. Какая-то букашечка там, среди поляны. Человечек! Он лежит на траве, раскинув руки, и смотрит вверх, в небо. Господи! Скорее туда, на землю, где трава и цветы. Лечь и раскинуть руки...

Моряки, как бы они ни тосковали по морю, хорошо знают, что море прекрасно только тогда, когда у него есть берег.

Человек сам как трава, как растение, на которое извечно действуют две противоположные силы: тяжести, привязанности, прикрепленное к земле и стремления вверх, полета, роста.

У прорастающего семени появляются два ростка. Один неукоснительно стремится вниз, а другой кверху. Один превращается в корни, которые все глубже будут зарываться в землю, другой в стебель, а то и в ствол, который будет тянуться выше в небо. С одной стороны, растение тянет к себе центр земли, а с другой стороны — центр солнца. Поэтому растение не обвисает, подобно мертвому бесчувственному шнуру. Пока оно живо, то есть пока оно способно подвергаться воздействию внешних космических сил и воспринимать их, оно будет натянуто в пространстве. Оно растягивается в противоположные стороны двумя,

казалось бы, враждебными, а на самом деле согласованно действующими силами.

Как хмель, украшающий дачную террасу, растет вдоль шпагатных струн, натянутых для него человеком, так всякая травинка, всякий стебель и ствол растут вдоль незримого силового луча, натянутого между двумя точками: центром земли и центром солнца.

Скажут: но бывают же кривые, изогнутые стебли? Где же их скольжение по прямому лучу? Где же их стремление к свету, где же их прямизна?

Отвечу: прямизна их — в стремлении. Все они рождены, чтобы быть и расти прямыми. Однако внешние случайные, привходящие, чаще всего механические силы заставляют их сворачивать с прямого пути. И все же, если взглянуть на искривленный, на уродливый стебель (ствол), нетрудно заметить, что, может быть, он и искривился только для того, чтобы обойти внешнее грубое препятствие, а потом снова подчиниться лучу.

Кроме того, в его стремлении вверх таится глубокое, с трагическим оттенком противоречие. Чем больше стебель растения подчиняется тяготению вверх, чем длиннее (выше) он становится, чем больше строительного материала приходится ему употреблять, строя самого себя, тем он становится тяжелее в самом земном и вульгарном смысле этого слова. Стебель начинает сгибаться в дугу. Жизнь принимает характер борьбы, она протекает отныне между поползновением и порывом. Береза стремится кверху, а ветви ее свисают вниз. Налившийся ржаной колос сгибает в лебединую шею прямой, как стрела, целеустремленный стебель. Созревшие яблоки не только сгибают, но и ломают сучья.

Возьмем уже упомянутый хмель. Вся жизнь его является примером титанической непрерывной борьбы между пресмыканием и полетом.

В дедовом саду был уголок между двором и старой рябиной, где водился хмель. Строго говоря, ему был отведен даже не уголок сада, а участок тына, протяженностью в десять шагов, по которому он и завивался из года в год. Тын в этом месте был нарочно сделан в два раза выше, нежели по всему остальному саду. Кажется, дед устанавливал здесь еще и дополнительные высокие колья, чтобы было хмелю куда расти.

Хмель живописно украшал дедов сад. Рядом с ним стояли пчелиные улья, так что уже здесь невольно и случайно пока соседствовали хмель с медом, предназначенные впоследствии друг для друга.

Соединялись они в бочонке, в котором варилась «кумушка» — медовая, хмельная (от слова «хмель») брага. Хмель этой браги, по общему мнению всех многолетних гостей, бил в двух направлениях: и в ноги, и в голову. Голове он придавал легкость и веселость, а ногам тяжесть и неподвижность. Головой словно вскочил бы и — плясать, порхать с платком по просторным и чистым половицам, а ноги невозможно сдвинуть с места и оторвать от пола.

«Неужели? — думаю я теперь. — Неужели два своих состояния, две своих крайности: тяжелую, удручающую пресмыкаемость и легкость, граничащую с полетом (на восемнадцатиметровую высоту), хмель сообщает потом и нам; и мы говорим его именем: хмель, хмельной, захмелел, хмельная голова, во хмелю, похмелье...»

Дедов сад постепенно нарушался. От прежнего протяженного тына остался только тот его десятишаговый отрезок, где вился хмель. Когда я стал возобновлять дом и сад, то новый забор провел, отступя на три шага от старого, и вот внутри сада получилась у меня весьма живописная, декоративная, как сказали бы теперь, гнилушка, все еще напоминавшая своим видом

старый тын. Вокруг этой реликвии густо разрослись хмелевые лианы.

Надо бы этот обломочек старого сада оберегать и хранить. Но он, как и все остальное в саду, был пущен на произвол судьбы и однажды зимой под тяжестью снега рассыпался, теперь уж на форменные гнилушки. Оставалось их собрать и сжечь в печке.

Когда собирали остатки тына — ранней весной, — хмель сидел затаившись в земле. Ведь он каждый год вырастает заново. Мы как-то и забыли про него, пока он сам не напомнил нам о себе, превратив заросли малины в одну непролазную зеленую мочалку. С какого бы конца ни подошел, куда бы ни протянул руку за малиной, всюду натыкаешься на хмель. Он расползлся от того места, где раньше стоял тын, во все стороны, цепляясь за все на своем пути, и все ему было мало. Окончание каждой ползущей зеленой змеи было ищущим, шарящим и, что поразительнее всего, смотрящим вверх. Ползет по земле, а смотрят в небо!

Пришла идея украсить хмелем ту часть дома, которая выходит в сад. Сказано — сделано. Впрочем, чтобы сделать это, надо было ждать либо поздней осени, либо ранней будущей весны и, вернее всего, весны, когда хмель еще не вырос в длинные змеи, но уже проклюнулся из земли и обозначил себя: видно, где врезась в землю острый железный заступ. Вот еще одно обстоятельство в жизни хмеля: каких бы ни достиг похвальных результатов за лето, на какую бы ни вскарабкался высоту, на будущий год все приходится начинать сначала. Но неправда, не совсем напрасно прошел год. В земле выросли на какую-нибудь толику, пустили новые отростки, укрепились еще больше толстые, глубокие корневища. За этими корневищами мы и пришли теперь с острым заступом. Раздвинув стебли малины, мы увидели, как из черной перегнойной земли высовываются тут и там острые, сочные, яркие

ростки хмеля. Мы стали обкапывать землю вокруг побегов, и лопата вскоре наткнулась на древовидные, толщиной не с руку ли, еще при дедушке росшие корни. Хмель угнал их в землю на трехметровую глубину, и мы не пытались, конечно, выкорчевывать хмель со всеми его корнями. Мы брали обрубки корневищ, горизонтальные, с тремя-четырьмя вертикальными ростками на них и укладывали эти обрубки в землю вдоль бревенчатой стены нашего дома. Ложе для этих обрубков мы сначала выстилали перегнойной землей из того же малинника, из того же места, откуда взяты были обрубки.

Первый год пересаженный хмель болел. Побеги он выпустил тонкие, хилые, листья мелкие, а вскоре на него набросилась тля. Эта травяная вошь, как и человеческая, набрасывается на больных, хилых, съедаемых тоской или другим душевным недугом.

На второй год, переболев и освоившись на новом месте, хмель показал свою силу.

Я наблюдал за ним. Уже с первых шагов ему приходилось решать дополнительную задачу по сравнению, скажем, с близрастущими одуванчиками и крапивой. У одуванчика есть, наверно, свои, не менее сложные, задачи, но все же на первых порах ему нужно просто вырасти, то есть создать розетку листьев и выгнать трубчатый стебель. Влага ему дана, солнце ему дано, а также дано и место под солнцем. Стой на этом месте и расти себе, наслаждайся жизнью.

Другое дело у хмеля. Едва-едва высунувшись из земли, он должен постоянно озиаться и шарить вокруг себя, ища за что бы ему ухватиться, на какую бы опереться надежную земную опору. На молодом побеге хмеля больше всего заметно действие тех сил, о которых говорилось немного раньше. Естественное стремление всякого ростка расти вверх преобладает и здесь. Но уже после пятидесяти сантиметров жирный,

тяжелый побег льнет к земле. Получается, что он растет не вертикально и не горизонтально, а по кривой, по дуге. Эта упругая дуга может сохраняться некоторое время, но если побег перевалит за метр длины и все еще не найдет, за что ухватиться, то ему волей-неволей придется лечь на землю и ползти по земле. Только растущая, ищущая часть его будет по-прежнему и всегда нацелена кверху. Хмель, ползя по земле, хватается за встречные травы, но они оказываются слабоватыми для него, и он ползет, пресмыкаясь, все дальше, шаря впереди себя чутким кончиком. Что делали бы вы, очутившись в темноте, если вам нужно было бы идти вперед и нащарить дверную ручку. Очевидно, вы стали бы совершать вытянутой рукой вращательное, шарящее движение. То же самое делает растущий хмель. Его шершавый, как бы сразу прилипающий кончик все время совершает, продвигаясь вперед или вверх, однообразное вращательное движение по часовой стрелке. И если попадется по пути дерево, телеграфный столб, водосточная труба, нарочно поставленный шест, любая вертикаль, нацеленная в небо, хмель быстро, в течение одного дня взлетает до самого верха, а растущий конец его снова шарит вокруг себя, в пустом пространстве. Не выяснен вопрос: чувствует ли хмель возможную опору на некотором расстоянии и ползет ли в ее сторону? Есть предположение, подтверждаемое практикой, что побеги хмеля ползут по земле предпочтительнее в сторону близко расположенных опор. Во всяком случае, когда мы натянули на наш дом параллельными струнами шпагат и когда хмель, немедленно воспользовавшись нашей помощью, полез по нему с проворностью матросов, карабкающихся по вантам, все же некоторые побеги, успевшие отклониться от стены, мне пришлось пригибать к шпагату и как бы показывать этот шпагат побегам,

подобно тому, как слепых котят тыкают мордочками в соски матери.

Дорастая до крыши, ветви хмеля начали шарить вокруг, но натыкались лишь друг на дружку. Они сплетались, перепутывались, свисали беспорядочными, праздными кудрями. Силы еще были, а высоты больше не было. Хмель залезал во все щели, в неплотно прикрывающиеся окна, под застреху, под тесовую обшивку.

Один побег я с самого начала не захлестнул на шпагат, и можно было наблюдать, как он, бедняга, день за днем пластается, ковыляет, ползет по земле, обремененный собственной силой, собственной тяжестью, как он вынужден переползать и тропинку, и лужайку, и помойку; и пора бы уж изнемогнуть и отказаться от цели, но самая нежная, самая чувствительная часть зеленой шершавой змеи все время продолжала быть начеку, все смотрела вверх, в синее теплое небо, в высоту, по которой так тосковало все растение в целом.

Этот хмель напоминал человека, переползающего гиблую трясину и почти уж засосанного ею. Тело его увязает в воде и грязи, но голову он из последних сил старается держать над водой. И взгляд его, полный тоски, устремлен кверху.

Я бы сказал тут, кого еще мне напомнил этот хмель, если бы не было опасности переключиться от невинных заметок о траве в область психологического романа.

Достаточно сказать, что вот я лежу на траве и каждая моя клетка льнет к земле и, между прочим, блаженно, радостно льнет, а какая-то иная часть меня рвется в синюю бездну. Да, я ползаю, погрязая и пресмыкаюсь. Но самое лучшее во мне, самое ищущее и чуткое, всегда нацелено вверх, и, может быть, это лучшее и чуткое нашарит еще какую-нибудь опору, и

тогда недорастраченные силы устремятся в последнем рывке завоевывать зыбкую высоту, которой жажду...

.. Вчера я пересказал вслух соображения насчет двух сил, действующих на растение и растягивающих его вверх и вниз. Слушательница — моя дочь, — получившая уже достаточное количество двоек по физике, чтобы задавать осмысленные вопросы, спросила:

— Следовательно, у растения есть точка, где эти силы уравнивают одна другую и на которую не действуют никакие силы? Наверно, эта точка испытывает состояние невесомости и блаженства? Неужели такая точка на растении никак и ничем не обозначена?

Может быть, именно в этой точке на растении возникает цветок...

* * *

БОРАХВОСТОВ

«Привет, Володя! Кое-что раскопал для тебя в старых книжках.

«Флора. Юная, маленькая, нежная богиня цветов, столько же привлекательная, как и сами цветы, и столь же упоительная, как аромат их. Она страстно любила Зефира, который, как ни был ветрен, по преданию платил ей взаимной неизменной любовью; они были неразлучны вместе: когда Борей сгоняет с полей Зефира — нежная Флора лишает те поля даров своих. Царство ее — вечная весна!» «Волхв., или Полное собрание гаданий с краткой мифологией», Москва, 1838 (есть у нас в библиотеке).

«Гадание»

«В июле месяце можно набрать двенадцать различных цветов, сплести из них небольшой венок и положить на ночь в головы под подушку. Суженый непременно приснится. Должно при этом заметить, что это делается только раз в неделю: именно с понедельника на вторник» (**Там же**, стр. 265).

«Когда созреет хлеб, должно взять три различных колоса с той десятины, которую еще не начали жать, обернуть их во что-нибудь льняное или шелковое и, ложась спать, укрепить поясом этот сверток так, чтобы он был прямо против сердца, и сказать — суженый, ряженный, приходи ко мне рожь жать.

Суженый верно явится» (**Там же**, стр. 265).

«В Семик, когда завьют венки, оставить свой, как он есть; потом вплести в него еще несколько цветков, стараясь, чтобы в нем было семь разных сортов растений; ложась спать, надеть венок на голову и три раза проговорить:

— Суженый, ряженный, явился ко мне сам! Я тебе украшенный венок свой отдам!

Суженый приснится. Только должно заметить, что, проговорив эти слова, не должно после ни с кем разговаривать в этот вечер» (**Там же**, стр. 266).

Я еще наткнулся на кое-что...

Наговор. (Даю, так сказать, технологию присушки.)

Из-под правой ноги, из-под самой пятки нужно вырвать клочок травы (какой безразлично) и положить ее под матицу (потолочная балка), приговаривая следующее заклинание:

«И как трава сия будет сохнуть во веки веков, так чтоб и он, раб божий (имярек), по мне, рабе божьей (имярек), сохнул душой и телом и тридесатью

суставами. Чтобы мне, красной девице, быть для него милее светлого месяца, красного солнышка, роднее отца-матери, дороже живота (жизни). Спать бы ему не заспать, есть ему не заесть, пить бы ему не запить, гулять бы не загулять без меня, красной девицы. И как рыба-белуга без воды бьется-мечется, так чтобы и он, раб божий (имярек), без меня бился-метался».

Примечание: Говорят, что действовало. Не знаю. Я не пробовал. Но меня присушивали. Так я полагал, когда был волжским грузчиком, ибо деваха та была неказиста. Но потом, с годами, я понял, в чем дело.

Это тоже о траве...

Царское правительство ежегодно весной, когда особенно часто умирали чахоточные, устраивало «День белого цветка» (ромашки). По улицам ходили парочки — гимназисты и гимназисточки, студенты и студентки — с жестяными кружками, опечатанными сургучными печатями, и побিরались в пользу больных туберкулезом...

...О значении цветов.

Желтые — разлука и измена, красные — любовь, белые — уважение, невинность. А у древних греков роза служила символом тайны. Если над столом висела роза, следовательно, все, что будет здесь говориться, должно остаться в тайне.

...Еще нашел в записных книжках, что существует книга Скальера Метьюза «Полевые и лесные цветы». Привет!»

* * *

...Итак, — лежать на траве. Но почему именно на траве? Что же, если не нравится, ложитесь на пыльную

дорогу, на кирпичи, на обрезки железа, на кучу минерального удобрения, на сучковые доски. Можно, конечно, расстелить на земле плащ. Но я бы советовал — на траве. Эти минуты сделаются, может быть, лучшими, памятными минутами вашей жизни.

Недавно я ездил в Белоруссию. Янка Брыль и Пимен Панченко приветили меня в Минске и решили показать мне, хоть немного, родную землю. Они раздобыли на три дня казенный автомобиль, и мы помчались на запад.

Поездка захватила три области: Минскую, Брестскую и Гродненскую. Мы обошли кругом озеро Свитязь и любовались сквозь прозрачную воду его белым песчаным дном. У лесничего в погребе мы пили квас из березового сока. Мы сидели на берегу Немана в предвечерней тишине и видели, как бултыхнулся жерех в десяти метрах от нас. Мы осмотрели несколько закрытых полуразрушенных церквей. Мы обедали в Новогрудке ядреной редиской и щами из свежего щавеля. Мы ночевали в Любиче, в тихой деревенской гостинице. Мы осмотрели замок Радзивиллов в Несвиже, а также прекрасный радзивилловский парк, где меня поразила необыкновенная высота самых обыкновенных деревьев: берез, лип, дубов, вязов и даже рябин. В костеле, в подвалах костела мы осмотрели фамильный склеп Радзивиллов. Около города Мир (старое название) мы любовались восстанавливаемыми руинами замка и зарослями шиповника, омывающими руины, подобно розовому прибою. Мы побывали на родине Адама Мицкевича и взбирались на так называемый Курган Бессмертия, который насыпали поляки, принеся сюда землю в горстях со всех уголков своей страны. Наконец, мы просто ехали три дня по красивой земле Белоруссии.

Янка Брыль, как инициатор поездки и как уроженец тех мест, все время говорил нам с Пименом Панченко:

— Ну что? Какова земля? С вас за такие виды надо бы брать по гривеннику с каждого километра.

Таким образом определилась шутливая цена окрестным пейзажам. Иногда Янка Брыль уточнял, когда попадался очень яркий луг (дело было в июне) или очень красивый изгиб реки:

— За этот километр я с вас возьму по сорок копеек. Иногда мы сами, восклицая, опережали хозяина:

— За этот километр даем рубль!

Между тем разговаривали, вспоминали, делились мыслями, признавались в желаниях и мечтах. Так, например, Янка Брыль вдруг сказал:

— Хотите верьте, хотите нет, лет двадцать уже мечтаю полежать во ржи!

— И за чем дело?

— Да вы сами-то когда лежали в последний раз?

— Давно. Не вспомнишь когда.

— Так же и я. То — одно, то — другое.

Большая часть жизни проходит в городе, в поездах, в самолетах, в гостиницах. Считаем, что важнее просидеть три часа на собрании или в ресторане, нежели пролежать эти часы во ржи. Проходят годы, а мечта остается мечтой. Она все отодвигается. Думаешь: ничего, успею. А потом — инфаркт, инсульт, не дай бог — прихватит рачок, и прощай рожь навсегда...

Мы ехали в это время по узкой полевой дороге, а справа и слева от нас колыхалась высокая, почти уж цветущая рожь. Должно быть, потому и зашла о ней речь.

— Может быть, не надо больше откладывать? — робко посоветовал я. — Отойди на двадцать шагов от дороги и ложись.

— Разве я об этом говорю? — удивился и даже обиделся Янка Брыль. — Разве так нужно лежать во ржи?! Чтобы я лежал, а вы сидели в машине и ждали? И

поторапливали меня: ну скоро ли, наверно, уж належаюсь?

— Я знаю, что во ржи так не лежат. Но все-таки, если двадцать лет не удавалось, то, может быть, лечь хоть на три минуты?

— А вы?

— Что мы? Ляжем тоже.

Машина остановилась. Трое взрослых, более того, пожилых людей пошли в тихую зеленую рожь, расходясь веером, чтобы отдалиться на несколько шагов друг от друга. Потом я опрокинулся на спину, и в мире не осталось ничего: ни друзей, ни машины, ни Белоруссии, ни Москвы. Высоко в небе, почти не склоняясь надо мной, стояли колосья.

Внизу, где я лежал, был микроклимат и микромир. Он состоял из зеленого полусвета, прохладной тишины, свежести, пахнущей молодой сочной рожью. Гораздо выше меня в тех сферах, где находились колосья, струился легчайший ветерок. Его не хватало на то, чтобы шевелить сами колосья, но трепетали на ветерке пыльники — продолговатые серые мешочки, как бы приклеенные к колосьям. На каждом колосе их было по десять, а то и больше, и все они трепетали, вытягивались в одном направлении, и можно было предугадать, как через день-другой из них полетит пыльца и ветерок будет развеивать ее, оплодотворяя все это поле.

Конечно, не о таком, минутном лежании во ржи мечтал поэт Янка Брыль (то, что он пишет прозу, не имеет значения), конечно, это было эрзацлежание во ржи, суррогат. Однако суррогатными были лишь наши обстоятельства, а рожь была настоящая, и утро было настоящее, и жаворонок над нами (один на всех нас троих) был самый подлинный, неподдельный жаворонок.

Рожь доказала нам свою власть и силу. Вечером, подъезжая к Минску, стали вспоминать весь проделанный путь — замки, озера, реки, города, деревни, костелы, склепы, рестораны...

— Объявляется конкурс. Давайте оценим по нашей шкале не километры, а отдельные эпизоды путешествия. Что поставим на первое место?

— Рожь! — воскликнули мои друзья. — Рожь, лежание во ржи и песню жаворонка над нами.

— Цена?

— Сто рублей!

На втором месте оказалось озеро Свитязь.

* * *

БОРАХВОСТОВ

«Копаясь в старых записных книжках эпохи своего студенчества, случайно наткнулся на высказывания Лукреция о травах. Посылаю, может, сгодится.

Кроме того, почему распускается роза весной.
Летом же зреют хлеба, виноградные осенью гроздья?

Не иначе как потому (перевод, конечно, хреновый, хотя издание «Академии»), что
Когда в свое время сольются
Определенных вещей семена.

(Лукреций. О природе вещей)

Без дождей ежегодных в известную пору
Радостных почва плодов приносить никогда не
смогла бы,

Да и природа, живых созданий корму лишивши,
Род умножать свой и жизнь обеспечить была бы
не в силах.

(Там же)

В самом начале травой всевозможной и зеленью
свежей
Всюду покрылась земля изобильно, холмы и
равнины,
Зазвенели луга, сверкая цветущим покровом.

(Там же. с. Изд. Ак. наук СССР, 1946)

«Володя!

Я сейчас занимаюсь «повторением пройденного». Перечитываю свои записные книжки. В них я наткнулся еще на античную траву. Правда, не такую древнюю, как у Лукреция. Но все же! Это — Овидий. Вот что он писал в своих буколиках и георгиках:

Мальчик прекрасный, сюда! О, приди!
Тебе лилии в полных
Нимфы корзинах несут, для тебя белоснежной
наядой
Бледных фиалок цветы («Фиалок цветы» —
перевод не ахти, но это не я, а Шервинский)
и высокие сорваны маки,
Соединен и нарцисс с (три «с» подряд)
анисовым цветом душистым.

*(Овидий. Сельские поэмы. Изд-во
«Академия», 1933, с. 28)*

Травы, что мягче, чем сон, и источники, скрытые
мхом,
И осенивший редкою тенью зеленый кустарник,
Вы защитите от зноя стада.

(Там же, с. 49)

Высохло поле. Трава умирая от порчи
воздушной,
Жаждет...

(Там же)

Прежде всего, выбирай для пчел жилище и
место,
Что недоступно ветрам (затем, что
препятствуют ветры
Пищу к дому нести), где ни овцы, ни козы-
бодалки
Скоком цветов не сомнут, где корова, бредущая
полем,
Утром росы не стряхнет и поднявшихся трав не
притопчет.

(Там же с. 119)

Этот мой интерес к травам объясняется тем, что в 8–9 годах я был пастухом у нас под Царицыном — Сталинградом — Волгоградом. Получив высшее образование, я решил узнать, как интеллигенция называет травы, которые я видел и которые щипала моя скотина.

Еще немного античности.

Спорить давай, кто скорей: сорняки из души я
исторгну,
Иль же ты — из полей, и кто чище:
Гораций иль поле?

*(Квинт Гораций Флакк. Полное собрание
сочинений. Изд-во «Академия», 1936, с.
307)*

Вот пасут пастухи жирных овец стада,
Лежа в мягкой траве, тешат свирелью слух.

(Там же, с. 163)

Вот в чем желания были мои, необширное поле,
Садик, от дома вблизи непрерывно текущий
источник.
К этому лес небольшой.

(Он же. Сотулы, 1958, с. 167)

Сивилла сказала, что может
Пеньем и травами мне горечь любви облегчить.

*(Авл. Левий Тибул. Любовные элегии.
1961)*

Идет молва, что она (Венера. — В. Б.) одна обладает
зловредными травами... Она сказала мне, что ее чары и
травы властны потушить огонь моей любви (**Тибул.**
Элегии. 1912, с. 5 и 6. Переведено прозой)».

У растения во время любви поднимается температура. В особенности это происходит у тех растений, которые цветут пышными крупными цветами. У Виктории-регии, у магнолии, например. В белых, бело-розовых брачных одеждах, величественные, роскошно раскрывшиеся навстречу неизбежному и самому главному, одурманивающие воздух вокруг себя крепкими ароматами, эти царицы, эти Клеопатры, эти жрицы любви распалются настолько, что температура внутри цветка получается на целых девять градусов выше температуры окружающего воздуха или температуры того же цветка, но только в спокойном состоянии.

Но и у самого скромного цветочка, у любого из наших луговых, лесных, полевых цветов все равно наступает возбуждение, сопровождающееся повышенной температурой, пусть и не такое бурное, как у тропических красавиц.

Выражение насчет любви у растений звучит на непривычный слух вульгарно, как метафора либо поэтическая вольность. Существует даже термин — антропоморфизм. То есть приписывание животным и растениям человеческих свойств и человеческих чувств.

Однако дело не в антропоморфизме, но в истинной сути происходящего.

Возьмем несколько разных пар, то есть несколько женских и мужских особей, соединяющихся велением закона жизни. Их соединение принято называть любовью. [\[2\]](#)

Испанец поет серенады своей возлюбленной, дерется из-за нее на шпагах, пробирается по шелковой лестнице в заветное окно. Навстречу ему тянутся

нежные руки возлюбленной. Страстный шепот, объятия. Любовь.

Жених и невеста приезжают из загса. Свадебный пир, провозглашение здоровья, песни и пляски. Потом молодые остаются одни. Страстный шепот, объятия. Любовь.

Воображение и память подскажут нам десятки и сотни известных (хотя бы из литературы и других видов искусства) любовных пар. Влюбленные разлучающиеся, гибнущие, упивающиеся счастьем, путешествующие, ревнующие, изменяющие, раскаивающиеся...

Влюбленные на балу, в церкви, в театральной ложе, в корчме, на берегу моря, в уединенной хижине, на войне, на службе, на трудовой вахте... Какое нагромождение событий, переживаний, восторгов, слез, надежд, ожиданий, разочарований, взаимных упреков, встреч, прежде чем влюбленные останутся одни и обнимут друг друга. Любовь.

Два огромных тяжелых лося сходятся в поединке. Самка ждет в стороне, независимо пощипывая траву. Два лебедя, два волка, два зубра (он и она)... Двое сходятся, чтобы из двух разрозненных единиц образовать пару.

В книге о дельфинах написано, что любовное желание у дельфина-самца возникает после того, как самка несколько раз дотронется до него своими лапами. Все это, очевидно, тоже — любовь.

Может быть, внешняя надстроечная сторона тут проще, чем в случае с испанцем, поющим серенады, звякающим шпагой и карабкающимся по шелковой лестнице. Или чем в случае с Карениной и Вронским. Или чем в случае с Дубровским и Машенькой Троекуровой.

Но, с другой стороны, был я однажды в доме отдыха. Десятки пар разбредаются после кино по

обширному темному парку, и не слышно ни серенад, ни звяканья шпаг.

Внешняя сторона события может быть очень разной. Назвать остров или пролив именем любимой женщины и взять женщину, не поинтересовавшись, как ее зовут. Посвятить женщине поэму и дать ей рубль. Преодолевать ради нее тысячеверстные расстояния и не проводить до троллейбусной остановки. Застрелиться из-за женщины и обложить ее матом.

Совершают государственные карьеры, становятся великими художниками, производят грандиозные ограбления, поют песни, спиваются, изменяют отечеству (Андрей из «Тараса Бульбы»), попадают в руки врагов (какого-нибудь атамана в кинофильме ловят непременно, когда он идет к женщине)... Тысячи романов уже написаны, тысячи еще будут написаны, и все это называется любовью, вернее, внешней, событийной, декоративной, надстроечной частью любви. Потому что ученые говорят, и в частности наш великий ученый К. А. Тимирязев, что «брак на всех ступенях органической лестницы, начиная водорослью и кончая человеком, представляет одно и то же явление: это слияние... двух клеток в одну».

Я уж думаю, иногда вырисовывается странное, фантастическое предположение: а может быть, реально в основе, и существуют-то на земле эти самые половые клетки, может быть, они-то (а ведь они живые организмы) и есть основное, реальное население мира? Эти существа умеют создавать для себя очень сложные обиталища, которые, кроме удобств, еще и обеспечивают им практическое бессмертие. Ибо обиталища время от времени отмирают и истлевают, а половые клетки (вместе с генами и хромосомами) продолжают существовать во времени и пространстве, воссоздавая себе все новые и новые обиталища.

Но оставим шутки и вернемся к неоспоримой истине: любовь у человека, любовь у дельфина и любовь у цветка по своей сокровенной сути ничем не отличаются друг от друга — она есть соединение двух половых клеток.

Вокруг этих клеток, вокруг факта их соединения существует разный антураж. Чем дальше от них, тем антураж различнее, непохожее, но чем ближе к самому непосредственному соединению их, тем различие все больше утрачивается.

Скаканье на тройках, тайное венчание в ночной сельской церкви; игры двух подвижных существ в теплой морской воде; утонченное ароматное цветенье ночной фиалки. Это все еще как будто далеко одно от другого. Но все равно дело сквозь любовную шелуху должно идти к двум клеткам, и чем ближе оно к ним будет подвигаться, тем общее, однороднее, похожее будет становиться любовь. А все эти тройки, игры, благоухания останутся позади, осыпятся сами собой. У цветка это произойдет весьма наглядно, когда осыпятся лепестки, в других случаях не так уж буквально и зримо. Дело закончится прикосновением, соединением и слиянием.

Причем, как утверждает К. А. Тимирязев, «сущность этого явления, химизм этого процесса для нас почти неизвестен». «Почти» употреблено ученым из осторожности. Зато все ученые сходятся на том, что каков бы ни был этот процесс, в нем нет никакой принципиальной разницы.

Но если это так — а это так, — то нет и никакого иносказания, никакого антропоморфизма в том, что мы употребляем слово «любовь» применительно к растению, к цветку. Напротив, может быть, нужно идти в приписывании качеств и свойств от цветка к человеку. Да мы так и делаем на каждом шагу, отнюдь не называя это фитоморфизмом. Такого и слова-то не существует в

человеческом языке. Сейчас оно впервые появилось написанным на бумаге.

Но разве мы не говорим о какой-нибудь женщине, что, полюбив, она расцвела? Или разве мы не говорим о женщине, что она преждевременно увяла? Или разве мы не говорим о подрастающем поколении: молодозелено? Не называем его порослью? Не называем кого-нибудь пустоцветом? И разве то, что мы называем человеческой любовью (вся событийная сторона любви), не есть цветенье нашей души? И как вернее сказать — цветок ли расцветает подобно душе влюбленного человека или душа влюбленного раскрывается и расцветает подобно цветку?

Цветенье души проявляется в поступках. Мужчина становится ласковым, нежным, предупредительным. Он приглашает ее в кино, на футбол, на хоккей. Он начинает лучше учиться или работать. Он следит за своей внешностью. Он томится, грустит, улыбается, ликует. Все это (если брать не отдельного влюбленного «антропоса», а человека как такового) должно найти себе обобщенное выражение, должно проявиться в каком-нибудь локальном образе. И оно действительно перерастает и воплощается в слово и в музыку. Слово и музыка — вот обобщение цветения человеческой души. «Лунная соната», «Я помню чудное мгновенье», сонеты Петрарки...

Но разве цветок менее удачное, менее яркое и выразительное обобщение того же самого?

Ни поэт, ни живописец, ни музыкант не нашли бы столь образного, столь лаконичного и — главное — столь наглядного выражения своей любви, как если бы они воплотили ее в живой благоухающий цветок и, показав людям, заявили: вот какова моя цветущая душа, вот какова моя любовь!

И люди изумились бы и были бы потрясены, потому что ничего прекраснее и чище цветка нет и быть не

может.

Подсознательно мы так и делаем, даря своим любимым цветы. Разве мы не передаем вместо намека на то, что и я, мол... и у меня, мол, в душе... и моя, мол, любовь похожа на этот цветок, приближается к нему.

Украсить землю цветами — это значит украсить ее любовью.

Когда бы созвали самых великих художников и сказали им, что существует во всей Вселенной голый серый камень и что нужно украсить его разнообразно и одухотворенно, с тем чтобы красота облагораживала, поднимала, делала лучше и чище, разве могли бы они, эти художники, придумать что-нибудь прекраснее обыкновенного земного цветка?!

Но дальше встает вопрос: сумели бы эти художники или нет додуматься до цветка, если бы они никогда его до сих пор не видели, не знали бы, что это такое, то есть если бы не было в их распоряжении образца?

Важен именно принцип и образец. Потом-то, оттолкнувшись от образца, они насочиняли бы, наконструировали бы и василек, и ромашку, и незабудку, и ландыш, и одуванчик, и подсолнух, и клевер, и кошачью лапку, и шиповник, и сирень, и жасмин.

Постепенно они дошли бы до каких-нибудь экстравагантных заумных форм, до расщепления формы, до цветка абстрактного, то есть, по-русски говоря, беспредметного, до какого-нибудь там кубизма в цветах. В этом нет никакого сомнения.

Сомневаюсь я в другом: что они смогли бы с самого начала додуматься до цветка, так сказать, изобрести цветок, если бы в их руках не было образца.

Смотрю на цветок жасмина. Его чистота, нежность и тонкость неправдоподобны. Глаз не устает любоваться им. Кроме того, он источает неповторимый, во всей многообразной природе только ему, жасмину, присущий

аромат. Его конструкция проста и строга, он построен по законам геометрии. Его четыре лепестка, расположенные крестообразно, вписываются в условный круг.

Все это — и белые лепестки, и желтая серединка цветка, и даже сам аромат, — все это создано при использовании девяноста двух (или сколько их там теперь открыли?) элементов менделеевской таблицы, путем гениальных комбинаций.

Ни один элемент в чистом виде жасмином не пахнет. Ни один элемент не может произвести такого же эстетического воздействия, то есть такого же очарования, какое производит живой цветок.

Ну конечно. Ведь и буквы, будучи рассыпанными, тоже не значат ничего. Возьмем хотя бы такой бездушный и бесчувственный, бесцветный набор букв: **в, з, ы, з, ш, х, о, м, у, д, н, и, о, ы, р, а, д, с, в, к, о, у, ь, н, о, м, р, о, к, н, ж, ы, и, и, ж, у, ь, и, е, я, ж, у, ь, и, е, я, ж, с, ч, б, ш, ь, о, ч, н, х, а, т, и, у, с, п, ы, ж, я, н, е, м, ж, л, е, н, в, о, у, г, б, и, в, з, д, я, з, с, а, д, з, е, в, з, ю, о, е, о, г, и, п, р, ш, о.**

Увидим ли мы, читая эти буквы, какую-нибудь картину, тем более прекрасную? Услышим ли аромат темной горной ночи, ее тишину? Возникает ли перед нами мерцание звезд, почувствуем ли мы в гортани прохладу ночного свежего воздуха, а в сердце — неизъяснимую тревогу и сладость?

Но вот буквы меняются местами, группируются, соответствующим образом комбинируются, и мы читаем, шепчем про себя, повторяем вслух:

Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман кремнистый путь блестит,
Ночь тиха, пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

Не аналогичным ли образом должны группироваться и перегруппировываться элементы менделеевской таблицы, чтобы из их безобразной и бесчувственной россыпи получился живой и душистый цветок жасмина?

Теперь задаем себе вопрос: сколько миллионов лет нужно встряхивать на подносе рассыпанные буквы, чтобы они сами собой сложились, в конце концов, в гениальное лермонтовское четверостишие? Или в поэму «Демон»? Или в сонет Петрарки? Или в целого Гете? И не придем ли мы к выводу, что для того, чтобы из рассыпанных букв получилось гениальное стихотворение, нужен, как ни печально в этом признаться, поэт.

Итак, оправдав кое-как понятие «любовь» применительно к цветку, возвращаемся к первой фразе этой главы:

«У растения во время любви поднимается температура». Наука, конечно, объясняет это как может. Она говорит, что в цветах появляется усиленная химическая деятельность. Они жадно поглощают кислород, выдыхая углекислоту, и это-то усиленное дыхание и сопровождается заметным повышением температуры всего цветка, в особенности тычинок.

Во-первых, говоря об учащенном и усиленном дыхании, не проще было бы сказать, что цветок возбужден. Во-вторых, объяснение правильное, но разве полное?

Оно очень характерно для нас, людей. Именно в такой степени мы объясняем большинство явлений, в суть которых проникнуть пока не удастся. Естественно, что при учащенном дыхании, при возбуждении организм разогревается. Но дыхание-то почему становится чаще и глубже — вот вопрос?

Можно вспомнить и еще подобные же объяснения подобных не совсем изученных явлений природы.

Общеизвестно, что листья мимозы, если до них дотронуться, мгновенно складываются. Почему? Так это же очень просто! Там, где листья примыкают к черенкам, а черенки к стеблю, находятся особые утолщения, подушечки. Клетки этих подушечек переполнены соком и находятся в напряженном состоянии. В момент дотрагивания до листа, то есть в момент раздражения, они вдруг теряют напряженность, делаются вялыми, неупругими, они уже не в состоянии поддерживать черенок, и он падает, пригибается. Можно найти и прочитать подробное описание этого механизма, очень сложного и очень точного. Но все же после тщательного исследования наука устами добросовестного Тимирязева заключает: «Итак, в конечном анализе причина занимающего нас явления сводится к быстрому выталкиванию воды из переполненных ею тонкостенных клеточек раздражительной ткани, вследствие чего эта ткань так же быстро утрачивает свое напряжение. Но почему же раздражением имеет следствие выталкивания воды и какие силы заставляют клеточку переполняться водой? На этот вопрос мы пока еще не в состоянии дать ответа...»

Общеизвестно, что одуванчик закрывает свой цветок в пасмурную погоду и перед вечером. Почему? Очень просто.

«Не трудно убедиться, что это зависит от действия света и темноты.

Объяснить все подобного рода явления мы можем неравномерным ростом и напряжением тканей верхней и нижней или наружной и внутренней части движущегося органа. Мы видели, например, что свет задерживает рост, следовательно, под его влиянием наружные части будут задержаны в росте, внутренние их обгонят и будут стремиться выгнуться наружу, цветок раскроется; по теперь большему освещению

будут подвергаться эти внутренние или верхние части; наружные (или нижние), затененные в свою очередь, опередают их в росте, цветок закроется».

Получается все очень складно, за исключением мелочи. Если дело только в росте тканей и в воздействии на них света и тени, то почему же одуванчик то закрывается, то открывается, а рядом цветущие цветы: василек, ромашка, земляника, не поддаются разъясненной нам механике и держатся открытыми в самые темные ночи и холодные росы?

Будем ли мы чистосердечно признаваться, что «мы пока еще не в состоянии дать ответа», или будем изощряться, но не можем допустить одного, а именно, что растение способно чувствовать и на самом деле чувствует, коль скоро оно отвечает на внешние раздражители. И уж конечно, язык наш не повернется произнести, что растение может быть разумно. Не один экземпляр растения, а целый биологический вид.

Способные на дерзкие эксперименты и обобщения, мы не осмеливаемся, однако, произнести те два слова, которые поэт и мыслитель осмелился сделать заглавием своей замечательной книги — «Разум цветов».

Но разум предполагает мозг, а не чувствительность, наличие нервов или хотя бы нервных клеток. Ни того, ни другого у растений как будто нет.

Действительно, как бы ни были таинственны и удивительны процессы, происходящие в человеке (мы говорим сейчас лишь о биологических процессах, а не о психической, не о духовной жизни человека и не об абстрактном мышлении), как бы ни было удивительным поведение любого четвероногого или пернатого, а невежество всегда может найти себе лазейку в объяснении этого поведения и сослаться на мозг.

Да, есть пульт управления, есть верховная инстанция, которая всем руководит. По бесчисленным

проводам бегут в этот центр разные сигналы и донесения, а обратно бегут распоряжения, приказы, сигналы, предписания к действию. Сложно, очень сложно, подчас непостижимо, но все же очевидна и понятна хотя бы схема. А тут? Никакого мозга даже в зародышевом состоянии, ничего, напоминающего мозговой центр у растения нет, а между тем им что-то руководит, определяя пропорции веществ, сроки, характер поведения.

Ну что же, представим себе человека (пресловутого марсианина, что ли?), у которого понятие о музыке обязательно связано со струной. Вне струны он не может представить себе музыкального звука. И вот ему в руки дают предмет. Он вертит этот предмет в руках так и сяк и наконец возвращает его нам, говоря, что никакой музыки тут быть не может, потому что нет струны.

А между тем в руки ему давалась флейта — прекрасный музыкальный инструмент.

Не в таком ли положении находимся мы по отношению к растениям. Если нет мозга, если нет нервных путей, значит, не может быть ни чувствительности, ни разума. А между тем растение живет, осуществляет сложные химические процессы, строит само себя, заботится о продлении вида, о потомстве, путешествует, завоевывает пространство, осуществляет грандиозную, основополагающую для всей жизни на земле задачу фотосинтеза, то есть превращение солнечного света в органическое вещество, и, наконец, оно чувствительно в самом вульгарном смысле этого слова, если реагирует на свет, на температуру, на влажность и даже — иногда — на прикосновение, не говоря уж о том, что в момент любовного акта начинает дышать чаще и глубже. Струны нет, а флейта поет.

Пишу с тревогой на сердце. Щемит сердце так, как если бы увлекся во время морского купания, оглянулся, а берега нет. И может быть, не хватит сил вернуться обратно, к твердой почве.

Мало ли что — красивое сравнение с флейтой, мало ли что — Тимирязев. Это было давно. Наука идет вперед. В растерянности обозревая зыбкие волны, шаришь глазами: на что бы опереться, за что бы ухватиться рукой? Теперь бы доску, обрубок бревна, не говоря уж о спасительном круге. И вот попадаетесь под руки отрадная, твердая опора.

В статье доктора географических наук, профессора Московского университета И. Забелина вижу строки, которые ничем не выделены в газетном столбе («Литературная газета», статья «Опасные заблуждения»), но мне эти строки показались напечатанными жирным шрифтом.

«Мы еще только начинаем познавать язык природы, ее душу, ее разум. За семидесятые семью печатями для нас «внутренний мир» растений: сегодня само это понятие звучит сказочно, но в той или иной форме он, видимо, существует».

Ладно. Оперся, передохнул. Но опора, в общем-то, зыбкая, эмоциональная, вроде моей струны. Натянуть бы эту струну на железные колки эксперимента и доказательств. Снова вокруг бездонная хлябь, но не я же один плаваю в открытом море. И вот уж не просто плавучий предмет под рукой, но иная картина: твердая палуба под ногами, сухая удобная одежда, глубокие кресла в капитанской каюте, в широких, сужающихся кверху бокалах темное золото согревающего напитка.

— Не угодно ли сигару, сударь?

— Благодарю.

— Это из моей гаванской коллекции...

Итак, газета «Правда», 1970 год. Репортаж В. Черткова «О чем говорят листья».

«А знаете, растения разговаривают. Я сам был свидетелем этого. Да ладно бы разговаривают, а то ведь и кричат. И это только кажется, что они безропотно встречают свои невзгоды и молча переносят обиды. При мне ячменный побег буквально вопил, когда его корень окунули в горячую воду. Правда, «голос» растения уловил лишь специальный и очень чуткий электронный прибор, который рассказал о «неведомых миру слезах» на широкой бумажной ленте.

Перо прибора, словно обезумев, виляет по белой дорожке. Ячменный побег в предсмертной агонии, хотя, если посмотреть, ничего не говорит о его плохом состоянии: листочек не сник и по-прежнему зелен. Но «организм» растения уже непоправимо болен — какая-то его, будто даже «мозговая» клетка уведомляет нас об этом своими сигналами, что фиксируются на ленте...

...Лауреат Государственной премии профессор И. И. Гунар, заведующий кафедрой физиологии растений Тимирязевской академии, проделал со своими сотрудниками сотни опытов, и все они подтверждали наличие в растениях эмпирических импульсов, подобных нервным импульсам человека.

— Мы полагаем, — говорит профессор, — что координации внутренних процессов и уравнивание их с внешней средой осуществляется у растений при помощи сложной раздражительной системы, под контролем которой находятся все процессы их жизнедеятельности... Очевидно, растения принимают сигнал, передают его по особым каналам в какой-то центр, где информация принимается и обрабатывается, а потом уж дается команда исполнительным элементам, которые в свою очередь имеют обратную связь с «приемщиком сигнала» извне.

Пока ученые не нашли все звенья этой системы, но она, как говорит профессор, обязательно есть...

Приборы должны рассмотреть многие электрические явления в растениях, которые являются глашатаями процессов возбуждения и торможения — этой основы жизнедеятельности всего живого. Уже ясно, что эти явления не просто какие-то частные феномены или нечто побочное, сопровождающее какой-либо физиологический процесс, а что они закономерны. В растениях заложены элементы памяти. Об этом тоже свидетельствуют наши опыты... надо внимательно изучить клетки корневой шейки, именно здесь, как мне кажется, должен быть заложен центр сбора всей информации».

Об элементах памяти сказано вскользь. Но ведь написано же черным по белому в газете, расходящейся тиражом в несколько миллионов экземпляров, а никто не звонил друг другу в возбуждении, никто не кричал в телефонную трубку захлебывающимся голосом:

— Слышали? Растения чувствуют, растениям больно, растения кричат, растения все запоминают!

Другой профессор, академик из Новосибирского академгородка рассказывал моей знакомой москвичке Галине Ильиничне Балиной (указываю ее девичью фамилию во избежание досужих читательских писем, обращающихся обычно за разъяснением подробностей).

— Не удивляйтесь, — говорил академик, — мы проводим многочисленные опыты, и все они говорят об одном: у растений есть память. Они умеют накапливать и долгое время хранить впечатления. Одного человека мы заставили несколько дней подряд мучить и истязать куст герани. Он щипал ее, обрывал листья, колол иглой, делал надрезы, капал на живую ткань кислоту, подносил к листьям зажженную спичку, подрезал корешки... Другой человек бережно ухаживал за тем же кустом герани: поливал, рыхлил землю, опрыскивал свежей водой, подвязывал отяжелевшие ветки, лечил ожоги и раны.

Потом мы подсоединили к растению электрические приборы, которые фиксировали бы и записывали бы на бумагу импульсы растения и смену этих импульсов. Что же вы думаете? Как только «мучитель» приближался к растению, стрелка прибора начинала бесноваться. Растение не просто «нервничало», оно боялось, оно пребывало в ужасе, оно негодовало, и, если бы его воля, оно либо выбросилось бы в окно, либо бросилось на мучителя.

Но стоило ему уйти, а на его место прийти доброму человеку, как кустик герани умиротворялся, его импульсы затухали, стрелка прибора чертила плавные и, можно сказать, ласковые линии.

— Теперь я понимаю, почему зацвела моя герань! — воскликнула другая добрая женщина, услышав об этих опытах. — Дело в том, что я на все лето уезжала из Москвы. Ухаживать за своими цветами поручила соседке. Она и ухаживала, и поливала их время от времени, выставив за окно. То ли кустик герани далековато стоял — не дотянуться, то ли соседка махнула на него рукой по той причине, что он захирел в первый же летний месяц и было видно, что не жилец, но даже и тогда, когда неожиданно выпал ранний снег, соседка не убрала его в тепло.

Однако хозяйка, возвратясь домой после длительных летних странствий, пожалела герань. Тем более что у нее с этим цветком было связано что-то личное и лирическое. Она взяла его в комнату, оборвала сухие листочки, полила, обласкала. И вот полузасохшее, безнадежно больное растеньице на третий уже день выбросило алый цветок. А как, скажите, оно еще могло приветствовать свою добрую хозяйку и ее возвращение, как еще могло отблагодарить за любовь и за ласку, за спасение жизни?

Конечно, ничего не зная о столь чудесных опытах, о которых тут было вскользь рассказано, можно смело

говорить, что цветенье этой гераньки — совпадение и случайность. Но зная об этих опытах, зная о них, можно, пожалуй, рассказать и о том отправном случае, с которого начался разговор между Галиной Ильиничной Балиной и профессором из Новосибирского академгородка, то есть, вернее, с которого их разговор перешел на цветы.

Галина Ильинична была в гостях у своих дальних родственников и осталась там ночевать. Ее положили в небольшой уютной комнате. Она почитала немного перед сном, а потом погасила свет. Она уже засыпала. Уже сознание ее находилось на той зыбкой грани между явью и сном, когда, как видно, ворота его (сознания) наиболее незащищены, не заперты, распахнуты. Вдруг безотчетный ужас охватил Галину Ильиничну. С криком выбежала она из комнаты к людям. Она не могла ничего объяснить, но зубы все еще стучали о край стакана, а сама она вздрагивала и всхлипывала.

Ночевала она вместе с хозяйкой, а утром ей признались, что в той маленькой уютной комнате, где ее положили сначала, две недели тому назад удавилась сестра хозяйки, пятидесятилетняя женщина...

Ну вот и дошли до мистики, до загробной жизни, до привидений и духов.

Так сказал бы, пожалуй, всякий рядовой, считающий про себя, что все он знает, то есть невежественный человек. Однако профессор из Академгородка, выслушав Галину Ильиничну, вдруг серьезно спросил:

— Скажите, а не было ли в той комнате цветов?

— Там, где я легла спать?

— Да. Где на вас напала смертельная тоска и смертельный ужас.

— Там... там было много цветов.

— Тогда не надо удивляться. Дело в том, что цветы концентрируют в себе настроение людей, живущих с ними вместе, их психическое состояние. Мало того, что

концентрируют, сохраняют очень долгое время. Мало того, что сохраняют, способны, как вы сами убедились, передавать это настроение другим людям.

— Но это... так непривычно. Это же сверхъестественно.

— Напротив, очень даже естественно. Если плохое или хорошее настроение может передаться от одного человека к другому, почему же оно не может передаться цветку. Ведь он живой, не менее чем мы с вами.

После этого-то профессор и рассказал о тех опытах с «мучителем» и «доброжелателем», которые, какими бы ни показались фантастичными, есть уже достояние науки.

Придя из этих гостей домой, я сказал жене и дочерям:

— Знаете что? Или ухаживайте за цветами как следует, или лучше в доме их не держать.

— Мы и так за ними ухаживаем. Поливаем, пересаживаем, все как следует, — ответила мне жена.

— Надо ухаживать за ними еще лучше. Надо подходить к ним не между делом и в спешке, а с любовью, надо их ласкать и жалеть, надо подходить к ним в хорошем настроении. Дело в том... короче говоря, дело в том, что они живые!

* * *

БОРАХВОСТОВ

«Володя, я еще наткнулся кое на что... Даю выписку из недавней газеты. Ученые Канады ...высказали предположение, что на урожайность пшеницы (как ты знаешь, эту пшеницу в Канаде мы покупаем. — *Б. В.*), помимо чисто биологических факторов, влияет и...

направление рядков посева. Посеянная вдоль географической широты — на запад или на восток — пшеница, по их утверждению, растет заметно быстрее и дает лучший урожай, чем посеянная по меридиану: с юга на север. Как полагают исследователи, это удивительное явление объясняется чувствительностью растений к силовым линиям магнитного поля земли».

А вот это из моих записных книжек. ...Зверобой, железняк, тимьян, золототысячник, чернобольник, шалфей, просвирник, ромашка, наперстянка, стародубка и анютины глазки — по народному поверью — бывают целебными лишь в том случае, если они сорваны после очередной «воробьиной ночи».

Тогда я стал интересоваться — почему? Интеллигенты объясняют это тем, что атмосферическое электричество влияет на жизнь растений.

Методотехнология лечения, кроме приема внутрь, заключается в том, что такую траву или ее корни надо завернуть в чистую тряпочку и после соответствующей обработки знахаркой, произнесшей шепотом слова таинственного наговора, необходимо подвесить на гайтан нательного креста.

Говорят, помогает. Сам носил, но не понял. То ли помогла трава на шее, то ли крепкий ребячий организм, но излечился от лихорадки, которая трепала больше двух месяцев.

...Какие-то травы зашивались в пояса и носились на животе. Это от желудочных болей.

От головы хорошо помогали травы, которые клались на ночь под подушку.

...Будучи на Дальнем Востоке, я узнал, что для того, чтобы женьшень не потерял своих магических целебных свойств, искатель женьшеня не должен быть вооруженным. Выкапывать корень он обязательно должен только лопаточкой, сделанной из кости...

...Травы чувствительны к музыке. Сын мне пишет (он работает атташе в нашем посольстве в Индии), что индийские ботаники установили, что определенным подбором мелодий (два «что» подряд — не ахти, но это не я, а Борахвостов. — *В. С.*) можно ускорять и замедлять рост трав. После семилетних опытов они установили, что самыми «музыкальными» травами являются табак и рис.

Примечание: Ну, это, может, трава растет от индийских мелодий. От музыки вряд ли что произрастет. Скорее завянет. [\[3\]](#)

...Травы, растущие на скалах, разрушают их. Это происходит потому, что корни трав выделяют угольную кислоту, которая обладает способностью растворять некоторые породы камня.

...Травяные часы.

Цикорий открывает свои лепестки в 4–5 часов утра и закрывает в 14–15 часов. Шиповник открыт с 4 до 19; мак с 5 до 15; картофель с 6 до 17; белая кувшинка с 7 до 19; кислица с 9 до 17...

...Ежегодно растения земли связывают около 150 миллиардов углеводов с 25 миллиардами тонн водорода и выделяют примерно 400 миллиардов тонн кислорода.

Для сравнения тебе: один современный самолет «Боинг», например, перелетая из Нового Света в Старый, сжигает 48 тонн чистого кислорода. Привет!»

* * *

Нашли и вскрыли гробницу Тутанхамона. То попадались все разоренные, разграбленные захоронения египетских фараонов, и вдруг нашлась

нетронутая гробница: все цело, все как сейчас положено.

Археолог Картер пишет, передавая свои первые впечатления от соприкосновения с древностью:

«Что, однако, среди этого ослепительного богатства произвело наибольшее впечатление, это хватающий за душу веночек полевых цветов, положенных в гроб молодой вдовой. Вся царская пышность, все царское великолепие побледнели перед поблекшим пучком цветов, которые еще сохранили следы своих давних свежих красок. С неотразимой силой они напомнили нам, каким мимолетным мгновением являются тысячелетия».^[4]

В книге «Жизнь и творчество Тютчева» К. Пигарев утверждает:

«То, что Тютчев, по собственному признанию, начал впервые чувствовать и мыслить среди русских полей и лесов, имело, несомненно, очень большое значение для его будущего развития как поэта. В частности, когда над землей сгущались сумерки, он любил бродить по молодому лесу вблизи сельского кладбища и собирать душистые ночные фиалки. В тишине и мраке наступающей ночи их благоухание наполняло его душу «невыразимым чувством таинственности» и погружало в состояние «благоговейной сосредоточенности». В этих прогулках зарождалось то обостренное, проникнутое романтикой восприятие природы, которое станет со временем отличительной особенностью тютчевской лирики».

Итак, букетик полевых цветов потряс ученого-археолога больше, чем вся ослепительная, золотая, царская роскошь.

Ночная фиалка наполнила душу поэта (вспомним также, что у Блока есть поэма «Ночная фиалка»)

невыразимым чувством таинственности и погрузила ее в состояние благоговейной сосредоточенности. От нее зародилось обостренное, проникнутое романтикой восприятие природы, которое сделалось отличительной чертой лирики одного из великих русских поэтов. И все это наделал скромный лесной цветок, называемый в обиходе ночной фиалкой, а более научно — любкой двулистной. В народе же в разных местах ее еще называют любка, ночница, люби меня не покинь...

Она относится к орхидеям, очень интересным цветам. Говорят, если разглядывать каждый цветок в отдельности, можно увидеть много интересного. Метерлинк посвящает орхидеям целую главу в своих несравненных записках «Разум цветов».

«У орхидей мы найдем самые совершенные и гармонические проявления разума цветов. В этих измученных и странных цветах гений растения достигает своих высших точек и пробивает необычным пламенем стенку, разделяющую царства».

Конечно, чем пристальнее и кропотливее исследование, тем больше удивительного обнаружишь. Хотя тот же Метерлинк, вероятно, прав, говоря, что тут, как и во всех вещах, истинное великое чудо начинается там, где останавливается наш взгляд. Может быть, осознавая это, Пришвин прямо и говорит:

«Разве я не понимаю незабудку: ведь я и весь мир чувствую иногда при встрече с незабудкой, а спроси — сколько в ней лепестков, не скажу. Неужели же вы меня пошлете изучать незабудку?»

В основе каждой гармонии лежит алгебра, но разве, любясь прекрасной женщиной, мы вспоминаем об анатомии и стремимся увидеть за ее чертами и линиями чертежно-конструкторскую графику скелета, а за синим туманом взгляда черное зияние пустых костяных глазниц?

В цветке, как ни в каком другом произведении природы, сосредоточен колоссальный обобщающий момент, поэтому он воздействует на нас непосредственно, прямо, минуя анализирующую инстанцию и обращаясь к тому самому, что является нашей подлинной сутью.

Цветок воспринимается нами, как и прекрасное стихотворение, когда мы постигаем одновременно и смысл, и музыку, и второй смысл, и поэтический заряд и не считаем про себя чередование ударных и безударных слогов.

Археолог Картер даже не назвал нам, что за цветы были в гробнице Тутанхамона, тем более он не считал на них лепестки. Они пронзили его сразу наповал, для того чтобы затмить блеск и силу золота, притом не в слитках, а в древнеегипетских изделиях, отличающихся, как известно, изяществом и высокой художественностью, для этого нужно обладать — согласитесь — огромной силой воздействия на нашу психику, на нашу душу.

Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я,
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя:
Где цвел? Когда? Какой весною?
И долго ль цвел? И сорван кем,
Чужой, знакомой ли рукою?
И положен сюда зачем?
На память нежного ль свиданья,
Или разлуки роковой,
Иль одинокого гулянья
В тиши полей, в тени лесной?
И жив ли тот, и та жива ли?
И ныне где их уголок?
Или уже они увяли,

Как сей неведомый цветок?

Зададимся вопросом: какой еще предмет можно было бы положить в книгу на память нежного свиданья или разлуки роковой? И какой предмет, найденный поэтом в книге, мог так же вдохновить и подвигнуть его на написание стихотворения, украшающего теперь нашу отечественную лирику? Красивая ленточка? Сторублевая бумажка? Прядь волос, наконец? Дешево, смешно и пошло. Сколько бы мы не искали, окажется, что в данном случае цветка нельзя заменить ничем!

Есть в русской поэзии также и «Ветка Палестины». И опять, ища и перебирая разные вещи, мы очень скоро убедимся, что никакой предмет, принесенный из святых мест, из Иерусалима, не остановил бы поэтический взор гениального юноши, не всколыхнул бы его души, не высек бы стихотворной искры, как это сделала простая древесная ветвь.

Неужели под беседой, под взаимным разговором, а тем более под взаимным влиянием можно понимать исключительно только разговорную речь. Как будто нет безмолвного разговора глаз. Как будто животное (даже котенок) не умеет внушить нам, чтобы его обогрели и накормили? Что ж удивительного, что и цветок может передать нам нечто и даже наполнить нашу душу, по признанию Тютчева, «невыразимым чувством таинственности». Притом, надо заметить, что именно это чувство мог внушить именно этот, а не другой цветок. Придеремся к слову и возьмем это самое «невыразимое чувство таинственности».

Может ли такое чувство внушить ромашка? Василек? Колокольчик? Лютик? Полевая гвоздичка? Кошачья лапка? Одуванчик?

Каждый цветок внушит нам какое-нибудь свое, другое чувство: навеет задумчивость, разбудит мечту,

создаст ощущение душевной легкости, светлости, чистоты... «Невыразимым же чувством таинственности» могла наполнить душу только ночная фиалка, любка, ночница, цветок, на котором как будто действительно лежит печать волшебства.

Дело не в тютчевском антураже: близко сельское кладбище, собирал и упивался ароматом в лунные ночи. Дело в самом цветке. И не пришло ведь в голову ходить в лунные ночи за иван-чаем, за зверобоем, за тмином...

В любом травнике можно найти подробное описание ночной фиалки. Например, так: «Семейство орхидные. Многолетнее травянистое растение с двумя продолговатыми овальными корнеклубнями: старым — крупным и дряблым и молодым — меньшего размера, сочным. Стебли прямостоячие, ребристые, при основании с буроватыми влагалищами, с двумя продолговатыми эллиптическими, суженными к основаниям, листьями. Цветы мелкие, белые, неправильные, сильно душистые, с длинными изогнутыми шпорцами. Цветки усиливают аромат к вечеру и в ночное время. Высота 20–60 сантиметров. Время цветения июнь — июль. Местообитание: растет в смешанных и широколиственных лесах на лесных полянах и опушках, а также среди зарослей кустарников и на сыроватых лесных лугах. Химический состав: корнеклубни содержат слизь (до 50 процентов), крахмал (до 27 процентов), сахар (1 процент), белки (до 5 процентов) и минеральные соли».

Не правда ли, исчерпывающая характеристика. Скажем так: Анна Петровна Керн. Рост — (все цифры условны), объем груди — 90, объем талии — 60, объем бедер — 100, зубов — 32. Нос прямой, глаза серые...

Но было же что-то и такое, что заставляло волноваться мужчин от одного только ее присутствия, хотя бы рядом сидели другие, не менее красивые женщины и у каждой из них было по тридцать два зуба.

Одновременно пишется светлое и целомудренное «Я помню чудное мгновенье», и одновременно говорится про нее в частном письме — «вавилонская блудница».

Сказано это, по-моему, в сердцах и прежде всего на самого себя за невозможность противиться той таинственной и сладкой силе, которую излучала эта женщина, вероятно, помимо своей воли. Такова уж она была.

Пришвин пишет: «На мое чутье, у нашей ночной красавицы порочный запах, особенно под конец, когда исчезнут все признаки весны и начинается лето. Она как будто и сама знает за собой грех и стыдится пахнуть собой при солнечном свете. Но я не раз замечал: когда ночная красавица потеряет первую свежесть, белый цвет ее потускнеет, становится желтоватым, то на этих последних днях своей красоты она теряет свой стыд и пахнет даже на солнце. Тогда можно сказать, что весна этого года совсем прошла и такой, как была, никогда не вернется».

В другом, то ли более раннем, то ли просто предварительном варианте сказано у Пришвина еще резче: «...на мое чутье, обыкновенная наша лесная ночная красавица скрывает в себе животную сущность...» (!) (Сравните с Метерлинком: «В этих измученных и странных цветах (орхидеях, к которым и относится любка. — В. С.) гений растения достигает своих высших точек и пробивает необычным пламенем стенку, разделяющую царства».) Добавьте к этому, что в старинные времена, во времена суеверий и знахарства, наивных представлений и детской непосредственности восприятия природы, именно эти цветы считались приворотным зельем и «...молодежь пользовалась ими для любовных чар» (М. А. и М. Носаль «Лекарственные растения и способы их применения в народе»).

Но лучше всего идите в начале лета на лесную поляну. В обрамлении светлых берез и темных елей вы увидите траву и цветы. Теперь самое место и время было бы сказать, как и говорилось не один раз во многих книгах, что вы увидите «ковер из цветов», «озеро цветов», «цветочный прибой», «кипение цветов», «пир цветов», «роскошное убранство», «буйное июньское разноцветье», «огромный букет», «царство красок и ароматов»... Но все равно, что бы мы теперь ни сказали, все будет приблизительно и бледно, поэтому лучше сказать, как и есть на самом деле: вы увидите траву и цветы, а еще точнее — цветущие травы.

Некрасивых цветов на свете нет. И если, слившись в целую лесную поляну, они ласкают наш взгляд пестротой и свежестью сочных и ярких красок, то при разглядывании каждого цветка вы будете поражены сверхточной, идеальной формой каждого венчика, каждого лепестка и каждой жилки на лепестке.

Вы пойдете по цветам, потому что по ним, оказывается, можно так запросто идти, можно мять и даже срывать, и будете уходить все дальше по золотому, розовому, лиловому, синему, голубому, белому, затененному, залитому солнцем, жужжащему пчелами и шмелями.

Невозможно идти и отделять цветок от цветка. Они сольются для вас в общую картину, в поляну, в опушку, во многие плывущие перед вашими глазами лесные поляны. И вдруг вы остановитесь, потому что вас остановит перед собой этот лесной цветок. Я не знаю, зачем ему это надо, но он действительно остановит вас.

Сейчас, конечно, стираются грани, но этот цветок выделяется, как если бы на прежнем деревенском гулянье, нарядном и разноцветном, появилась заезжая гостья в длинном белом платье и в белых перчатках почти до плеч.

Как если бы в табунах крестьянских лошадей появилась белоснежная арабская кобылица, как если бы тонкая фарфоровая чашка среди фаянсовой и глиняной посуды... Так возникнет перед вами ночная фиалка среди остальных лесных цветов.

При всем том, вовсе нельзя сказать, например, про незабудку, что она простушка, про ромашку, что она деревенщина, про колокольчик, что он наивен. Все другие цветы исполнены своего благородства. Недаром кто-то из немецких, кажется, ботаников воскликнул про тысячелистник, совсем не бросающийся в глаза: «Достаточно вам увидеть этот цветок, как вы поймете, что находитесь в хорошем обществе».

Но если в ночной фиалке какой-то оттенок, нечто такое, что сразу выделяет ее из остальных цветов. Не хотелось бы соглашаться с Мих. Мих. Пришвиным, что это «нечто» оттенок порочности. Правда, что оттенок порочности выделяет и притягивает. Но ведь может и оттолкнуть. Нет, просто этот цветок «из другого общества».

Не мудрено было бы выделиться таким образом из всей лесной поляны нарциссу, тюльпану, гиацинту, ирису, другому садовому чуду, выведенному путем столетнего отбора и скрещивания. Условия равны. Речь идет о столь же диком, о столь же лесном цветке, как и все окружающие его соседи и соседки.

Вот повод посудачить соседкам, когда разольет любка в полночь свой аромат и когда начнут слетаться к ней ночные бабочки: «Потайная она, эта любка. При луне с ночными бабочками свадьбу свою справляет. То ли дело мы, остальные цветы. Мы любим, чтобы пчелы. Чтобы пчелы и солнышко».

Не прав и еще раз не прав даже такой тонкий наблюдатель, как Пришвин. Не отцветая пахнет любка сильнее всего, а в первые минуты цветения, когда в ночной темноте раскроет она каждый из своих

фарфорово-белых цветочков (зеленоватых в лунном луче) и в неподвижном, облагороженном росой лесном воздухе возникает аромат особенный, какой-то нездешний, несвойственный нашим лесным полянам.

Ну, ландыш еще. Но ландыш пахнет, если его поднести к лицу, к носу и нарочно понюхать. Этот же непривычный аромат заструится из лунного света в лунную ночь, наполнит поляну, утечет за мохнатую ель, просочится через орешник, поднимется в воздух, где то вспыхивают, то погасают, перелетая из света в тень, беленькие, но теперь тоже зеленоватые ночные бабочки.

Дай вам бог, каждому, кто читает эти строки, увидеть хоть раз в жизни, как расцветает в безмолвном и неподвижном лунном свете ночная фиалка, ночная красавица, ночница, любка, люби меня не покинь...

Вы скажете, что видели эти цветы у торговков возле входа в метро, связанными в большие пучки, по цене двугривенный за пучок. И ставили даже в воду. И они стояли у вас, пока не пожелтели (а стебли успевают к этому времени в воде осклизнуть).

Тогда и я вам скажу, что видел сказочных морских рыб, ярких, как цветы, — лежало полтонны в цинковом ящике на рыбзаводе.

Видел я и тропических бабочек приколотыми к картону, видел и тропических зверей в зоопарке в клетках. Но признаюсь, что не видел ярких морских рыб, плавающих среди кораллов и водорослей, не видел тропических бабочек, летающих над тропическими цветами, не видел леопарда, притаившегося на древесном суку, а тем более в прыжке с этого дерева, не видел я и тигра, промелькнувшего в уссурийских папоротниках и рыкнувшего на меня, прежде чем исчезнуть в таежных зарослях.

Не говорите же и вы, выбрасывая раскисший в застарелой воде пучок травянистого вещества, что

имели счастье видеть любку двулистную, ночную фиалку и что вдыхали ее аромат.

Между прочим, ее родственнички, в такой близкой степени родства, как если бы двоюродные братья и сестры, — все ятрышники: лиловый, шлемовидный, мужской, болотный, мясокрасный, дремник, кукушкины слезы и даже любка зеленоцветная, хотя и имеют точно так же спаренные клубеньки, то более овальные, то более круглые, хотя и обладают почти теми же разнообразными свойствами, все же почему-то не вышли в такие же люди, как ночная красавица. Чего-то не хватило им, не досталось какой-то толики. Здесь, как и во всяком искусстве, знаменитое «чуть-чуть» отделяет просто талантливое от гениального.

И получилось, словно в старой крестьянской семье: все дети остались при доме, при земле, а одна дочь учится в губернском городе в образцовой женской гимназии.

Или в старой мещанской семье: все дочери кто за чиновника, кто за купца, а одна — княгиня.

Все похоже у бедных родственников: и цветы, и клубеньки, и образ жизни, и места обитания — близкие родственники, братья, сестры. Но аромат не тот, впечатление не то, очарование не то, какая-то внутренняя сущность не та. И вот особняком стоит наша ночная фиалка от всех ятрышников.

Между прочим, благодаря этому цветку, я обнаружил в себе черту, роднящую меня, как отдельного индивидуума, с целым человечеством, но, тем не менее, отвратительную черту. Вот так было дело. Но сначала — оговорка и отступление.

Александра Михайловна Колоколова, врач, травница и замечательный во всех отношениях человек, однажды, несколько лет тому назад, постучалась в мою комнату, где я жил тогда в доме отдыха в Карачарове. Не успел я моргнуть, как эта на седьмом десятке

женщина оказалась передо мной на коленях. Впрочем, не успел я моргнуть второй раз, как она быстро встала с пола и начала говорить:

— Видели? Хотите встану на колени еще раз?

— Но помилуйте, Александра Михайловна! Что с вами?

— Я слышала, вы собираетесь писать книгу про целебные травы.

— Это не совсем так. Про целебные травы, вернее, про целебные свойства трав я писать не собираюсь и не могу. Я же не знахарь, не травник, не народный лекарь. Я просто хочу написать...

— А! Значит, и правда, хотите!

— Да что тут плохого?

Александра Михайловна сделала новый порыв опуститься на колени.

— Владимир Алексеевич, дорогой, прошу вас, не пишите про травы.

— Почему?!

— Я читала вашу книгу про грибы, знаю, как вы пишете. Получается очень наглядно и убедительно. Не пишите. Хотите еще раз на колени встану? Вы не представляете, что будет. Все ринутся в леса, на луга, на поля. Истребят все, уничтожат цветы, траву, всякую зелень.

— Кажется, вы преувеличиваете силу убедительности моих книг. Грибы ведь никто не истребил.

— Грибы собирают испокон веков. Создалось равновесие. Потом остается грибница. Она в земле. За травами пока что охотятся только некоторые знатоки и любители. Многие травы приходится брать с корнями. И ежели хлынет масса... поверьте мне, истребят зверобой, истребят кипрей, истребят подорожник, истребят каждую целебную траву...

Так вот, Александра Михайловна, я действительно не буду даже упоминать про целебные свойства трав, но вовсе не потому, что разделяю ваши опасения, но потому, что действительно не имею права. Я не доходил до этих свойств своим умом или опытом. Я только читал о них в травниках и других специальных книгах. Зачем же я буду теперь переписывать из чужих книг в свою сведения, вроде тех, что ромашкой хорошо мыть голову, подорожник надо прикладывать к нарывам и ранам, а спорыш замечательно пить от камней в почках?

Просто у меня, за полвека почти, накопились некоторые личные отношения, некоторые чувства к тому или другому цветку, а выражать чувства — моя основная профессия.

Вся эта оговорка понадобилась мне для того, чтобы не распространяться здесь, зачем мне однажды понадобилось добыть некоторое количество клубеньков ночной фиалки, которые, как мне говорили, если сорвать их в определенное время и в определенных условиях и соответствующим образом обработать...

Но стоп! Иначе зачем же было делать пространную оговорку.

Так всегда у человека и получается: сперва красота, очарование, сказка, поэзия, душевный трепет, созерцание и любование, а потом вдруг — корысть. И уж если появилась и заговорила корысть, то ни красота природы, ни разум, ни даже чувство самосохранения не властны остановить и заглушить ее.

Как раз перед этим я читал книгу француза Дорста «До того, как умрет природа». Да и вообще, если попадется на глаза газетная, журнальная статья, просто заметочка, всегда обратишь внимание, а то и вырежешь. В результате всей этой информации невольно перестанешь идеализировать человечество и с тревогой будешь следить, как плоскость, по которой

мы скользим, становится с каждым днем все наклоннее и наклоннее.

Трудно представить себе космонавтов, летящих на корабле через космическое пространство и сознательно портящих свой корабль, сознательно разрушающих сложную и тонкую систему жизнеобеспечения, рассчитанную на длительный полет.

Земля — космическое тело, и все мы не кто иные, как космонавты, совершающие очень длительный (но не бесконечный, надо полагать) полет вокруг Солнца, а вместе с Солнцем и по Вселенной.

Система жизнеобеспечения на нашем прекрасном корабле устроена столь остроумно и мудро, что она самообновляется и таким образом обеспечивает благополучное путешествие миллиардов пассажиров.

Но вот постепенно, но последовательно мы эту систему жизнеобеспечения с безответственностью, поистине изумляющей, выводим из строя.

Если на маленьком космическом корабле космонавт начнет развинчивать гайки и обрывать провода, это надо квалифицировать как самоубийство. Мы делаем то же самое, только результаты, по сравнению с маленьким кораблем, сказываются не так скоро.

Порча корабля и его системы жизнеобеспечения идет по нескольким, но, надо сказать, основным, коренным направлениям:

1. Отравление и загрязнение пресных вод.
2. Порча Мирового океана.
3. Порча земной атмосферы.
4. Истребление и порча зеленого покрова Земли.
5. Истребление животных и птиц, вплоть до полного, безвозвратного истребления многих биологических видов.
6. Уничтожение верхнего, плодородного слоя земли, называемого почвой, который подвергается все большей эрозии.

7. Опустошение недр, последствия чего пока еще не ясны.

Если бы какие-нибудь вселенские диверсанты были посланы уничтожить все живое на Земле и превратить ее в мертвый камень, если бы они тщательно разработали эту свою операцию, они не могли бы действовать более разумно и коварно, чем действуем мы, живущие на Земле люди и не только не считающие себя диверсантами, но мнящие себя друзьями природы.

Где-нибудь в ЮНЕСКО есть, наверное, исчерпывающие цифры, характеризующие нашу деятельность по всем семи названным направлениям. У меня нет этих цифр, да и ни к чему они здесь, в заметках.

Говорят, что мы сбрасываем в Мировой океан ежегодно 10 000 000 тонн нефти. Говорят, Рейн несет в своих водах каждые сутки столько же ядовитых химических веществ, сколько могут перевезти 1000 железнодорожных составов. Говорят, одна только средней мощности электростанция, работающая на мазуте, выбрасывает в сутки в окружающий воздух 500 тонн серы, в виде серного ангидрида, который, соединяясь с любой водой, тотчас дает серную кислоту.

Цифры, если их собрать, потрясающи; картина, если ее нарисовать, ужасна.

Остановиться уже нельзя. Но я сейчас думаю не о точке остановки, а о точке начала, о той пружине, которая дала первый толчок и подвигнула человека на этот пагубный путь.

Лев, нападая на стадо антилоп, убивает только одну. Сытый лев пропускает мимо себя стадо антилоп, не пошевелив ухом. Ястреб не будет заниматься бесцельным истреблением птиц, например, перепелят. Он схватит одного и улетит, чтобы насытиться, утолить голод, утолить потребность в пище, запрограммированную в нем от века. Насекомоядная

птица по своей прожорливости могла бы съесть сразу всех, ну, каких-нибудь там личинок, однако ее возможности ограничены самой природой.

Но вот я разглядываю картинки в книге Дорста «До того, как умрет природа». Люди расстреливают стадо бизонов с поезда. Тысячи туш остаются лежать и гнить в степи, потому что людям нужны были только шкуры. Врезавшись в одуревшее стадо бизонов на летящем поезде, люди стреляют, пока есть патроны либо пока есть бизоны.

Лежбище котиков. Люди ходят между беззащитными зверями и палками избивают их. Избиение продолжается до тех пор, пока есть силы или есть котики. Как можно больше убить, как можно больше схватить.

Истреблена морская корова, истреблена птица гага, истреблены — фактически — зубры, если не считать нескольких штук в Беловежской пуще. Под угрозой истребления киты, слоны, страусы, крокодилы, носороги, многие виды животных и птиц.

Бей, пока есть патроны, бей, пока видишь, бей, пока шевелится, бей, если можешь убить и... положить в карман гладкий холодный кружочек золота.

Да, как ни печально это сознавать, но первым толчком, подвигнувшим человека на путь так называемого технического прогресса, была неутолимая, ненасытная жадность.

Можно оскорбиться и обидеться в этом месте, но перешагните уязвленное самолюбие, посмотрите внимательно на действия человека в разные эпохи и в разных условиях, проанализируйте его действия от охотника за жемчугом до Александра Македонского, от золотоискателя на Аляске до Наполеона, от собирателя грибов до собирателя миллионов, и вы увидите, что именно жадность была основным двигателем человеческой истории.

Покажите мне охотника, который, имея возможность убить двух уток, убивает только одну, или человека, который имел возможность взять три рубля, берет только один.

Есть, правда, попадаются и вовсе не охотники. Бывает даже, отдают другим людям последний рубль. Но таких людей мало, и не они, к сожалению, двигают наш прогресс. Они только помогают нам оставаться людьми, когда это трудно и почти невозможно.

На такие, примерно, размышления навело меня чтение книги Дорста «До того, как умрет природа».

И вот мне понадобилось некоторое количество клубеньков любки двулистой, ночной фиалки. Я надеялся, что они окажут благотворное действие на здоровье одного близкого мне человека.

Все лесные поляны, где можно встретить этот цветок, я знал. Иной раз во время предвечерней прогулки сделаешь большого крюку, чтобы в холодеющем уже воздухе наклониться над белой башенкой цветка и вдохнуть аромат. Иногда я срывал их несколько штук и дома ставил в воду.

Тем не менее задача моя оказалась не из легких. Дело в том, что клубеньки надо добывать только осенью, когда цветов уже нет и растение не выделяется среди других трав, не бросается в глаза издали, за пятнадцать — двадцать шагов. Я думаю, если ползать по лесу на коленях, и то едва ли обнаружишь те два глянцеви́тых листочка, льну́щих к земле, благодаря которым любка и называется двулистой.

Воображение во время охоты всегда работает на охотника. Идешь по грибы и заранее рисуешь себе, как под темной елью стоят шоколадные белые грибы. Или видишь как наяву оранжевые блюдца рыжиков в зеленой траве. Говорят, такое охотничье воображение помогает охотникам обнаружить тетерева, затаившегося в древесной кроне, зайца, слившегося со

снежной белизной, любую дичь, тот же боровик под еловой тенью.

Но часто в жизни все оказывается не так, как рисовало воображение. Заглядываешь под еловые лапы, а там темная пустота. Кажется, не может не быть под такой классической елью белого гриба, а его нет и нет. Найдешь его потом под какой-нибудь елочкой-замухрышкой.

Так и теперь, собираясь на эту необыкновенную для меня охоту, я воображал, что как только приду на нужную поляну, так и увижу знакомые (разглядывал летом) листочки, под которыми в земле таятся два загадочных клубенька, никогда в жизни мною не виданных. Но уже сама сентябрьская поляна не походила на ту, которую я запомнил с июня месяца. Все цвело и блистало здесь тогда. Ничего не стоило нарвать красивый букет. В который раз соблазнишься и колокольчиками, подивившись, как можно было оперировать и распорядиться, строя цветок столь тонким и нежным лиловым материалом. Соблазнишься напрасно, как известно, потому что, пока несешь до дома, колокольчики сникнут, словно детские воздушные шарики, из которых утекает воздух. Ничего, долго будут стоять в кувшине другие цветы. Не заказано и на другой день прийти на ту же поляну и вновь увидеть ее все в том же летнем цвету.

Никаких цветов я не увидел теперь на сентябрьской поляне. Не сочный травостой по колена, а приземистая густая щетка травы, с торчащими там и сям сохлыми стеблями бывших цветов, не непременно, перегретое солнцем гуденье пчел и шмелей, а сероватая тишина нахмурившегося денька. Уже и листья кое-где поддались желтизне, и одна березка, уступившая, сдавшаяся раньше других (может, сорт, а может, какая-нибудь березовая болезнь), напорошила на поляну желтых листочков.

Быстрыми шагами начал я ходить по поляне, надеясь тотчас и обнаружить предмет охоты. Но перепутавшаяся трава казалась однообразной. Я был слеп, как слеп непросвещенный человек, глядящий на небо, усыпанное звездами. От горизонта до горизонта — одинаковое небо и одинаковые светлые точки. Ну мигают, некоторые поярче, покрупнее, а в целом — хаос. Рассыпаны звезды, как горох, без всякого порядка. Много-много, что увидит на небе непросвещенный человек, так это ковшик Большой Медведицы, так и я сразу отличил, конечно, на лесной поляне крапиву, выросшую на куче истлевшего хвороста.

Но мне нужна была теперь не Большая Медведица, даже не какойнибудь там Телец. Мне нужна была Вега — благородная и таинственная звезда!

Долго я бродил по поляне и даже чуть не ползал по ней, а два знакомых листа не давались мне.

Я уж делал и так. Отойду на край поляны, окину ее взглядом и стараюсь вспомнить, где поднимались летом на высоких стеблях белые цветы. Скорее иду в то место, разглядываю, шарю, перебираю траву руками, ничего похожего нет.

Исходил середину поляны, обшарил края, постепенно стал удаляться в глубину леса, где густая тень, где реже трава, где больше под ногами черной земли.

Иногда попадались (еще и на поляне) парные листья, как будто похожие на те, что я ищу. У меня не было никаких копательных орудий, кроме ножа, правда, острого, крепкого. Всадив его в землю, я вырезал вокруг находки землю по окружности, подковыривая, и земля вынималась бочоночком величиной с обыкновенный стакан. Я разминал землю, обнажал корешки и не находил ничего, кроме мочки густых мелких корешков или одного стержневого корешка,

похожего на тщедушную петрушку или, если хотите, на мышиный хвостик.

Да и бывают ли эти клубеньки? Не сказка ли, не фантазия ли они? Впору было отчаяться и идти домой с пустыми руками.

Но сказалась старая школа рыболова-поплавочника, способного целый день просидеть над неподвижным кусочком пробки, плавающим на воде около кувшинного листа. Знал я, как рыболов-поплавочник, и то, что терпение всегда вознаграждается.

В стороне от поляны, в тенистом лесу, искать стало легче. Не было травяной путаницы. Травинка от травинки растут отдельно и отдаленно. Может быть, эти два листка? Может, эти? А вот эти я уже проверял.

Мне приходилось писать в другом месте, что валуй, например, можно издавлека принять за белый гриб, обмануться, но что, когда увидишь настоящий белый гриб, его с валуем ни на каком расстоянии не спутаешь. Веет от него исключительностью, подлинностью, благородством. Так получилось и теперь. Как я мог сомневаться? Как я мог какие-то шершавые, матовые, покрытые ворсинками, изборожденные прожилками листья принимать за листья ночной фиалки?

Вот они, мои два листа. От одной точки на черной земле они растут в строго противоположные стороны. Около самой точки они совсем узкие. Затем становятся все шире и в широком дальнем конце плавно округлены. Если бы перевернуть лист узкой частью кверху он напомнил бы продолговатую каплю. Но я смотрел на листья сверху, и мне они напоминали крылья огромной зеленой бабочки, которая, может, и улетела бы, если б не корешки, вросшие в землю.

Чистотой зеленого тона, глянцевитостью и четкостью формы листья произвели на меня какое-то нездешнее, залетное впечатление. Правда, надо было еще убедиться, что я нашел именно то, что искал. Я все

еще разглядывал листья, а клубеньки оставались в земле.

Встав для удобства на колени (вот где понадобилось бы перекреститься, если бы на моем месте был настоящий знахарь — дед), я вонзил нож в землю в пяти сантиметрах от растения, и мне показалось, что листья вздрогнули. Осторожно стал я обрезать землю по окружности. Под ножом перерезались и трещали мелкие корешки, и лопнул с натуги чей-то толстый корень, вероятно, протянувшийся от молоденького деревца, которые росли тут во множестве. Этот корень я перерезал с большим трудом. Подковырнув ножом и вынув земляной бочоночек, я поставил его рядом с черной зияющей раной, которую я только что своими руками нанес земле.

Тут надо правильно понять мои ощущения.

Копаем землю заступами под гряды, копаем ямы и врываем в землю столбы. Роем карьеры, котлованы, шахты, открытые рудники, поднимаем взрывами тысячи, миллионы тонн земли, сокрушаем скалы, срываем горы. А тут всего-то ковырнул ножом, и вот уж называется это — зияющей раной! Смешно! Тем не менее ощущение мое было точным. Я знал, что вместе с комком земли изъял из земли живые клубеньки, из которых на будущий год выросла бы ночная фиалка.

Отойдя на несколько шагов, я решил запечатлеть микропейзаж. Небольшая тенистая елочка. В метр высотой. Поодаль от нее толстый зеленый ствол осины. Сама осина где-то там, наверху, и нам теперь не важна. Между елочкой и осиновым стволом вторглась в наш микроинтерьер и распростерлась, вроде опахала, ореховая лоза. Под ней-то, как под крышей, и расцвела бы на будущий год в зеленоватой тени белая ночная фиалка. Теперь уже не расцветет. Никогда. Я ее не просто сорвал, но искоренил.

Осторожно, нащупывая пальцами каждый комочек, каждый тоненький корешок (но это все были еще не ее корешки), я стал разминать и дробить землю. Вдруг мои пальцы нащупали твердые, гладкие и прохладные округлости, и мне показалось, что я кощунственно прикоснулся к чему-то тайному, запретному, интимному. Земля вся обсыпалась наконец, и сахарно-белые, похожие на женские груди, клубеньки обнажились.

Действительно, один из них был сероватый и дряблый. Как будто кожица сделалась ему велика. Другой был ядреный, крепкий и сочный.

Вниз от каждого клубенька тянулся тонкий хвостик — корешок, а от свежего клубня нацеливался вверх тупоконический росток. Именно ему надлежало весной пробить крышу темницы, выгнать высокий прямой стебель, на котором и расцвели бы цветы. Уж с осени он приготовился к выполнению своей задачи.

Я держал на ладони белый клубенек, который благодаря коническому ростку, напоминающему колпачок, и тонкому корешку удивительно походил теперь на гномика. Я держал его на ладони и еще раз дивился великому чуду. Где-то хранились в нем (в семечке есть хоть зародыш) будущие ночные фиалки с их очарованием, ароматом, семенами. Тянулась от этого клубенька цепочка фиалочьих поколений назад на миллион веков и цепочка фиалочьих поколений вперед на миллионы миллионы веков.

Правда, для этого именно экземпляра я прервал, перерезал ножом миллионнолетнюю цепочку, уничтожив одним движением ножа результаты миллионнолетних усилий природы.

Остались на земле другие экземпляры ночной фиалки. Конечно. Но принципиально от этого ничего не меняется. Кто-то убил последний экземпляр морской коровы, последний экземпляр гаги. Кто-то убьет

последний экземпляр кита и лебедя. Мало ли что другие экземпляры. Но ведь именно от этого тянулись назад и вперед цепочки поколений. А теперь осталась только одна цепочка — назад. Нитка перерезана, и перерезана она мной.

«Ну ладно, природа не пострадает», — сказал я себе, кладя клубенок в карман.

Вскоре мне попались две разновидности ятрышника, и я их тоже вырезал из земли. У одного из них были округлые клубеньки, за которые ему дали в народе не совсем приличное прозвище. У другого ятрышника клубни напоминали двух нагих, обнимающихся людей.

Все это было интересно и удивительно, но любка двулистная мне больше не попадалась.

Незаметно из старого смешанного леса я перешел в мелкие частые сосенки. Было тут что-то вроде просеки, узкого длинного ложка. На этом ложке я снова увидел любку. Наклонившись к ней, увидел еще, потом еще, потом сразу пять, потом больше. На коленях я стал переползать от одной любки к другой, нож вонзался, подковыривал, земля осыпалась, клубеньки обнажались, один из них отбрасывался, другой клался в карман.

Мой охотничий азарт усугубился, видимо, тем, что долгие поиски были бесплодными и я даже терял надежду. Рука стала болеть, затекать, я намял мозоль, но был как в чад. Каждая новая пара листьев казалась мне крупнее предыдущей (а значит, и клубеньки будут крупнее), и я полз на коленях дальше и снова вонзал свой нож, резал, рвал, разминал землю, оголял клубенок, клал в карман.

Ни о чем я теперь не думал, и неизвестно, сколько времени продолжалась бы эта варфоломеева ночь, но вдруг у меня сломался нож. Переломился около рукоятки. Я с сожалением повертел его в руке, отбросил

в сторону, распрямился и оглянулся назад. То, что я увидел, поразило меня, как громом. Исковерканная, истерзанная полоса земли тянулась за мной. Было похоже, что тут рылась свинья. Еще час назад на поляну приятно было смотреть. Она радовала глаз ровной зеленью, чистотой. Я увидел ее и в будущем июне; какой она была бы вся в цветущих фиалках и какой будет теперь, когда я ее за один час совершенно обесцветил.

Бизоны, расстреливаемые с идущего поезда, котики, избиваемые палками, пока не онемееет рука, линючие дикие гуси, загоняемые в загоны и избиваемые палками же, огромные кедры, срубаемые ради кедровых шишек, рыбы, черпаемые из рек и морей миллионами тонн... Все, все припомнилось мне на обезображенной мной лесной поляне. Тогда я окончательно понял, что я человек и ничто человеческое мне не чуждо.

А то, что мне снятся до сих пор то белые крепенькие клубеньки, то цветущие под луной ночные фиалки, это мое уж личное дело. Может быть, избивателям котиков тоже снятся потом их симпатичные недоуменные мордочки, а также их с набежавшей слезой ничего не понимающие глаза, в которых наивная доверчивость граничит со смертельным ужасом.

* * *

Оказавшись в гостях, я осматривал дачу и дачный участок. Тут были только цветы. Никакой там клубники, ранней редиски или салата. Одни цветы. Нарциссы, пионы, астры, ирисы, георгины, флоксы, примулы, тюльпаны, розы. Одни уже цвели, другие набирали бутоны, третьи ждали своего позднего осеннего часа.

Под конец нашей цветочной экскурсии меня привели в помещение, называемое теплицей. Нечто

вроде сарайчика. Глядя снаружи, можно было подумать, что там хранятся разные садовые инструменты, кое-какие строительные материалы (мешок цемента, ящик со стеклом, столбик кирпичей, немного тесу да еще в углу ворох стекловаты...), на самом же деле ничего подобного в сарайчике не было. Прежде всего это оказался не летний продувной сарайчик, а теплое, душноватое даже, помещение. Посредине, занимая все пространство, возвышалась, как если бы бильярдный стол, земля. Кругом опоясывала эту своеобразную грядку, это своеобразное поле узкая траншея, по которой можно было ходить вокруг гряды и смотреть на нее со всех сторон. Теперь смотреть было не на что, в теплице ничего не росло.

— Четырнадцать квадратных метров, — пояснил хозяин. — Искусственный климат. Урожай по желанию — в любое время года. Но я приурочиваю к первому января.

— Огурцы или помидоры? Оно конечно, к новогоднему столу свежий огурчик — цены нет. То же и помидор...

— Ну что вы! Огурцы — это грубо и дешево.

— Так, вероятно, клубника? Она и земляника — почти одно и то же. А известно, что «земляника в январе» стала поговоркой, эталоном, символом роскоши. Но, впрочем, я не согласен. Тут какая-то искусственность и ошибка. Видимо, у нашего организма, как и в природе, существует «сезонность». Согласитесь, что свежий огурец для нас дороже всего весной и в начале лета. В августе хорошо бы — малосольный. Точно так же и земляника. Да в январе ее вовсе не хочется! В январе я предпочту горсти свежей земляники ложку земляничного варенья с хорошо заваренным чаем.

— Вот поэтому я ее и не выращиваю в этой теплице, — засмеялся хозяин, терпеливо выслушав мои

рассуждения о сезонности наших вкусов.

— Тогда о каком новогоднем урожае вы говорите?

— Цветы. Тюльпаны. Вот о каком урожае. По два, по три рубля за цветок. Эти четырнадцать метров приносят мне пять тысяч рублей дохода.

Я вспомнил, что и правда, зимой бывают такие цены на тюльпаны. В самый новогодний вечер я видел однажды, как в дальнем углу большого шумного магазина у женщины, не успевающей опасливо стрелять глазами по сторонам, считать деньги и отдавать цветы, расхватывали огненные гвоздики по четыре рубля за штуку. Но и в обычное время, и в самые будние дни Москва поглощает огромное количество цветов, и цены на них всегда высокие.

Во Владимире на базаре, в очереди за телятиной, впереди меня стояла молоденькая девушка с тремя гладиолусами в руках. Женщины спрашивали у нее — почем купила. «За три рубля», — отвечала девушка. Никто из простых владимирских женщин, стоящих за телятиной, не удивлялся, что такая может быть цена на гладиолусы. Скорее, они сокрушались о ценах на телятину, за которой стояли.

Итак, три рубля за цветок. При каких обстоятельствах мы могли бы платить три рубля за одну картофелину, за одно яблоко, за один апельсин, в конце концов. Очевидно, что при условии острой нехватки и даже голода. Авитаминозы, дистрофия, пухнут детишки, война, блокада. Тогда, конечно, отдашь и три рубля за одну картофелину, отдашь и больше. В нормальной же обстановке не всякий, я думаю, человек (из нормально работающих и зарабатывающих) купит для себя один апельсин за три рубля. Слава богу, таких цен на апельсины нет. Сообразуясь с потребностью, цены установлены: на апельсины 1 рубль 40 копеек, а на картошку — гривенник за килограмм.

Но отчего же москвичи платят по рублю, по два и по три за один цветок? Отчего вообще люди платят за цветы деньги? Наверное, оттого, что существует потребность в красоте. Если же вспомнить цены, о которых сейчас говорилось, то придется сделать вывод, что у людей теперь голод на красоту и голод на общение с живой природой, приобщение к ней, связи с ней, хотя бы мимолетной, в чем-то искусственной, в своей городской квартире.

Тем более что в цветах мы имеем дело не с какой-нибудь псевдокрасотой, а с идеалом и образцом. Тут не может быть никакого обмана, никакого риска. Хрустальная ваза, фарфоровая чашка, бронзовый подсвечник, эстамп, акварель, вышивка, кружево, ювелирное изделие... Тут все зависит от мастерства и от вкуса. Вещь может быть дорогой, но не красивой, безвкусной. Надо и самому, покупая, обладать если не отточенным вкусом и чувством прекрасного, подлинного, то хотя бы понятием, чтобы не купить вместо вещи, исполненной благородства, вещь аляповатую, помпезную, пошлую, лишь с претензией на благородство и подлинность. Или попадется подделка под другую эпоху, подделка под великого мастера, подделка под красоту. Человек на это способен.

Но природа жульничать не умеет. Согласимся, что цветочек кислицы — не тюльпан. С одним тюльпаном можно прийти в дом, а с одним цветочком кислицы — скудновато. Но это лишь наша человеческая условность. Приглядимся к нему, к цветочку, величиной с ноготок мизинца, и мы увидим, что он такое же совершенство, как и огромная, по сравнению с ним, тяжелая чаша тюльпана, а может быть, даже изящнее ее... Что касается подлинности, то вопроса не существует. Но, конечно, лучше, когда красоту не надо разглядывать, напрягая зрение, а когда она сама бьет в глаза. Мимо цветочков кислицы можно пройти, не

заметив их, а мимо тюльпана не пройдешь. Недаром, как известно, он был одно время предметом страстного увлечения цивилизованного человечества, чтобы не сказать — массового психоза. Начертим канву, хотя бы редкой пунктирной линией.

Первые сведения о тюльпане исходят из Персии. Известно также, что его любили турки и что разведение тюльпанов было одним из любимых (может быть, поневоле) занятий прелестных обитателей турецких гаремов. Тут тюльпанами любуются, тут в честь них устраиваются праздники, тут еще не подозревают, что, пробравшись сквозь стражу и сквозь узорные золоченые решетки, они, тюльпаны, словно пестрое войско, хлынут в Европу и завоюют ее. Впрочем, нашествие вовсе не походило на лавину, на вторжение чужеземного войска. Оно скорее подкралось как болезнь, которая хотя и принесена извне, развивается изнутри.

Как все известно о начале великих событий и великих войн, точно так же известно, что в Западную Европу тюльпаны попали в 1559 году. Германский посол при турецком дворе Бусбек привез несколько луковиц на родину в Аугсбург. Уже в этом году у сенатора Гарварта расцвел первый цветок тюльпана. Вскоре он украшает роскошные сады средневековых богачей Феггеров. Отсюда он распространяется по Европе, подобно пожару, захватывая все новые народы и земли.

Вот им увлекаются в Германии маркграфы, графы, курфюрсты, придворные медики, богачи-любители, коронованные особы.

Вот среди любителей и ценителей тюльпанов мы находим уже Ришелье, Вольтера, маршала Бирона, австрийского императора Франца II и французского короля Людовика XVIII. И тут происходит еще одно примечательное событие: тюльпановый пожар перескакивает в Голландию. Вдруг эта страна уравнивается, то что называется, положительных, а

пуще того, расчетливых людей вспыхивает, как сухая солома. Правда, с расчета-то и началось.

Заметив, что тюльпановые луковицы находят спрос и сбыт у немцев и других народов, голландцы решили воспользоваться, как теперь сказали бы, рыночной конъюнктурой, не подозревая, что сами вскоре падут ее жертвой. Сначала луковицы выращивали садоводы, но очень скоро этим стало заниматься все население страны. Торговцы всячески поддерживали и поощряли новое занятие. Луковицы стали скупать, перекупать, перепродавать. Образовалось нечто вроде биржи с ее биржевой игрой. В дело пошли уже не сами луковицы, но расписки на луковицы. Расписки, в свою очередь, перекупались и перепродавались, причем цены на них доходили до фантастических размеров. Одни люди разорялись, другие внезапно богатели, третьи расчетливо богатели. По стране гуляло 10 000 000 тюльпановых расписок.

Некоторые, не вчиняясь в рискованную игру, наживали деньги на более скромном товаре: на глиняных горшках для тюльпанов, на деревянных ящиках для выращивания. Ящиками пользовались те из голландцев, у которых не было садовой земли. На биржах собирались тысячи разных людей: миллионеры и рыбаки, купцы и швеи, бароны и ремесленники, высокосветские дамы и прислуги, старики и подростки... Шли в дело семейные драгоценности и домашний скарб, шли под залог коровы и дома, земельные участки и рыболовные снасти. За одну знаменитую луковицу уплачено 13 000 гульденов, за другую знаменитую луковицу — 6000 флоринов, за третью луковицу пошло 24 четверти пшеницы, 48 четвертей ржи, 4 жирных быка, 8 свиней, 12 овец, 2 бочки вина, 4 бочки пива, 2 бочки масла, 4 пуда сыра, связка платья и один серебряный кубок.

За выведение редкого сорта (размера и цвета) назначались огромные премии, а успех выведения превращался чуть ли не в национальное торжество. Сохранилось описание празднества по поводу выведения черного тюльпана. У Н. Ф. Золотницкого, в свою очередь переписавшего откуда-то описание этого празднества, читаем:

«15 мая 1673 года, рано утром в Гаарлеме собрались все гаарлемские общества садоводов, все садовники и почти все население города. Погода была великолепная. Солнце сияло, как в июле.

При торжественных звуках музыки шествие двинулось по направлению к площади Ратуши. Впереди всех шел президент гаарлемского общества садоводства М. Ван-Синтес, одетый весь в черно-фиолетовый бархат и шелк под цвет тюльпана, с громадным букетом; за ним двигались члены ученых обществ, магистраты города, высшие военные чины, дворянство и почетные граждане. Народ стоял по бокам шпалерами.

Среди кортежа на роскошных носилках, покрытых белым бархатом, с широким золотым позументом, четыре почетных члена садоводства несли виновника торжества — тюльпан, красовавшийся в великолепной вазе. За ним гордо выступал выведший это чудо садовод, а направо от него несли громадный замшевый кошель, вмещавший в себе назначенную за вывод этого тюльпана премию города — 100 000 гульденов золотом.

Дойдя до площади Ратуши, где была устроена грандиозная эстрада, вся убранная гирляндами цветов, тропическими растениями и хвалебными надписями, шествие остановилось.

Музыка заиграла торжественный гимн, и двенадцать молодых, одетых в белое гаарлемских девушек перенесли тюльпан на высокий постамент, поставленный рядом с троном штатдгальтера.

В то же время раздались громкие крики народа, возвещавшие о прибытии принца Оранского.

Взойдя в сопровождении блестящей свиты на эстраду, принц Оранский обратился к присутствующим с речью, в которой изобразил интерес, представляемый для садоводства получением тюльпана столь редкой и своеобразной окраски, как черная, и, провозгласив имя столь отличившегося садовода, вручил ему пергаментный свиток, на котором было начертано его имя, и его заслуга, и крупная сумма, подаренная ему городом.

Восторгам народа не было конца, и счастливец понесли в триумфе по улицам. Празднество закончилось грандиозным пиршеством, устроенным лауреатом своим друзьям и садоводам Гаарлема».

Согласитесь, что наш знакомый дачник, выращивающий тюльпаны на четырнадцать квадратных метрах и потом продающий их полутайком по два рубля за штуку, выглядит жалким кустарем-одиночкой по сравнению с размахом средних веков.

Можно рассказывать точно так же не о биржевой игре на тюльпанах и не об ажиотаже вокруг них, но об истинных любителях этого цветка.

Это средневековое любительство оставило множество трагических и комических случаев, курьезов, яркий след в искусстве, в том числе в поэзии и литературе вообще.

Но такое нашествие, такое передвижение цветов не похоже разве на всякое другое передвижение и нашествие, которым охватываются и захватываются все новые пространства, будь то нашествие орд и чужеземного войска, будь то нашествие чумы и холеры, будь то нашествие идей и мод.

Конечно, хотя и были жертвы во время завоевания Европы тюльпанами (многие разорились), все же не было при этом кровавых побоищ и пожаров, трупного

смирада и вдовьих слез. Должны же чем-нибудь отличиться цветы от гуннов, татар и турецких янычаров!

Но помимо нашествий и, так сказать, цветочных эпидемий, помимо возведения время от времени в культ какого-нибудь одного цветка (лилия на гербе и на военных знаменах Бурбонов, война Белой и Алой Розы), цветы имеют над людьми незаметную, но постоянную власть. Потребность в них велика во все времена. Более того, по отношению общества к цветам и, если позволительно будет так выразиться, по положению цветов в обществе можно было бы во все времена судить о самом обществе и о его здоровье либо болезни, о его тоне и характере.

Возьмите древних. Сначала все идет хорошо. Греки любят гирлянды из цветов, «плетение которых составляло не только особое ремесло, но даже доведено было до степени художества. Девушки и женщины, умевшие плести с особым искусством гирлянды из роз, делались знаменитостями: с них снимали портреты и делали мраморные бюсты, точно так же, как в наше время это делается относительно знаменитых артистов и поэтов».

«Первая вязальщица венков в Древней Греции, красавица Глицерин из Сикиона, была увековечена знаменитым греческим живописцем Паузиасом, написавшим ее портрет. Впоследствии за одну лишь копию с этой картины Лукулл заплатил несколько тысяч».

Венком из роз украшается невеста. Розами убирается дверь, ведущая в ее дом, лепестками роз усыпается брачное ложе.

Розами усыпается путь возвращающегося с войны победителя и украшается его колесница. Ими же украшаются гробы умерших, урны с прахом и памятники, в особенности Афродиты.

В Риме роза сначала — эмблема храбрости. Она как бы орден, дающийся за проявленное геройство. Лежону, который первым ворвался в неприятельский город, разрешается во время триумфального шествия нести в руках розы. Но когда один из командиров позволил солдатам украсить себя розами после незначительной победы, то получил за это строжайший выговор.

Меняла, незаслуженно украсивший себя венком из роз, посажен в тюрьму по приказанию сената.

Итак, государство в расцвете и силе — во всем мера. Цветы, в частности розы, в большой цене, однако без каких-либо патологических отклонений. В дальнейшем нетрудно проследить, как с разложением государственной крепости, с интуитивным ощущением надвигающегося конца отношение к цветам принимает черты излишества и болезненности.

Уже Клеопатра принимала у себя Марка Антония, насыпав на пол пиршественного зала розовых лепестков слоем в один локоть.

На носилках проконсула Верреса лежали матрас и подушки, набитые розовыми лепестками.

У Нерона во время пиров сыпались с потолка миллионы розовых лепестков.

Розовыми лепестками усыпалась поверхность моря, когда патриции отправлялись на прогулку. Целое озеро было усыпано однажды лепестками роз.

На одном из императорских пиров столько лепестков насыпалось с потолка, что все гости задохнулись под ними.

Все улицы Рима были пропитаны запахом роз, так что непривычному человеку становилось дурно.

Разве это не своеобразный барометр, не своеобразная характеристика времени? Возьмите для сравнения Париж в начале этого века. Не даст ли нам его цветочная жизнь понятие о жизни, пульсе, тоне этого богатого и блистательного в чем-то, как

говорится, капиталистического, в чем-то с демократическими традициями, города?

«Кто не был ранним утром на центральном цветочном рынке в Париже, тот не сможет себе и представить той суеты, той кипучей деятельности, какая царит там в это время.

Сотни фургонов, нагруженных снизу доверху цветами, съезжаются со всех окрестностей Парижа, сотни фургонов везут цветы с вокзалов железных дорог, присылаемых из Ниццы, Грасса, Лиона и других южных городов.

Целые сотни, тысячи людей занимаются разгрузкой, разборкой, расстановкой и продажей цветов, другие сотни, тысячи — их покупкой, сортировкой и разноской по Парижу...

Цветы расходятся по городу благодаря множеству всевозможных разносчиков цветов и продавщиц букетиков, встречающихся всюду, на всех улицах и бульварах.

...Число таких торговцев в самом Париже насчитывается до 4000 да в окрестностях около 2000. Так что 6 тысяч одних только этого рода торговцев развозят ежедневно цветы по Парижу и окрестностям.

Далее следует продажа цветов в киосках, представляющих собой, так сказать, переход от разносчиков и рыночного торговца к дорогим цветочным магазинам...

...Что же касается до тех больших цветочных магазинов, которые являются у нас (то есть в России того же времени. — *В. С.*) главным центром цветочной торговли, то такие, конечно, имеются в Париже, но они уже почти не пользуются цветами, привозимыми на центральный рынок, а держат только более редкие экзотические растения или особенно роскошно выращенные цветы, разводимые в собственных теплицах и садоводствах.

Число таких магазинов в Париже доходит до 500. При этом замечательно, что почти вся торговля цветами ведется здесь исключительно женщинами.

Причины тому весьма ясны: для составления бутоньерок, венков, букетов, плато и разного рода жардиньерок требуется много вкуса, много изящества, а в этом отношении женщины, конечно, неизмеримо превосходят мужчин...

...Эталажи парижских цветочных магазинов являются истинным наслаждением для глаз. Особенно же они поражают зимой, когда сквозь гигантские зеркальные окна взор околоченного от холода зрителя видит перед собою всю роскошь тропиков или знойного юга, увеличенную искусной группировкой растений и полным артистического вкуса подбором цветов и аксессуаров.

Спрашивается: сколько же тратится Парижем и его летучим чужестранным населением ежегодно на цветы?

На это точная статистика отвечает следующее.

В хорошие года в Париж ввозится на 30 000 000 франков цветов... Они все расходятся по рукам, по домам положительно всего Парижа.

Кого вы только не встретите в Париже. Молодую ли девушку, пожилую ли даму, мужчину ли, ребенка ли — у всех почти увидите всегда цветы или в руках, или на груди, или в петлице.

Взойдете ли вы в комнату скромного работника или работницы — вы увидите на окне или в стаканчике цветы. Взойдете ли вы в богатый дом — увидите их не только всюду расставленными в роскошных вазах, жардиньерках, но и украшающими обеденные столы, украшающими все гостиные, будуары и даже лестницы.

Цветы встречают в Париже и новорожденного, провожают и покойника. Цветами украшаются и в театр, на бал, на скачки. Цветами приветствуют

именинника, цветами убирают невесту, цветы подносят артистам. Ими украшают торжественные обеды, ими убирают экипажи, ими убирают могилы. Словом, нет в Париже события, веселого или печального, где бы их не было...

...Такова роль цветов в Париже, во всей Франции, можно сказать, во всем современном цивилизованном мире». ^[5]

По логике повествования теперь полагалось бы мне описать состояние цветочной торговли в современной Москве, но хватит ли моего воображения и скудости моих изобразительных средств?

Прежде всего надо сказать, что в отношении к цветам москвичи ни в чем не уступают остальному цивилизованному миру. Точно так же, как и в Париже, как и везде, у нас цветами и встречают новорожденного и провожают покойника, приветствуют именинника и убирают невесту, подносят цветы артистам и украшают ими обеденные (банкетные) столы.

Правда, я не встречал лестниц, украшенных цветами. Но когда-то в старом семиэтажном московском доме по Уланскому переулку, где живет моя сестра Екатерина Алексеевна, я обнаружил на лестничных поворотах перил некие излишества, что-то вроде площадок или, скажем, гнезд и поинтересовался, зачем это, мне сказали, что, бывало, здесь стояли цветы. То ли плошки, то ли вазы с цветами. Предполагаю, что плошки. А на самих ступеньках будто бы лежала ковровая дорожка. Но, по-моему, это вздор. Если на лестнице так просто стояли цветы в плошках, то почему же никто не уносил их в свою квартиру? А если ковровая дорожка, то почему ее в первые же три дня не изрезали на отдельные коврики? Или не скатали в рулон и не увезли? И как могли цветы и дорожка сочетаться с этими немытыми стеклами, накопившими

на себе слой слипшейся пыли в палец толщиной, и с этими мрачными темными побитыми стенами? И с этим запахом в подъезде (москвичи знают, отчего это происходит), и с этим лифтом, исцарапанным внутри острым гвоздем?

С такими сомнениями я пришел к одному старожилу этого дома, и он неожиданно стал меня заверять, что действительно цветы на лестнице были и дорожка была, более того — жильцы будто бы оставляли внизу в подъезде галоши и зонтики.

Последнее убедило меня больше всего, потому что и сейчас иногда оставляют москвичи внизу детские коляски.

Трудно сказать, почему исчезли цветы с лестничных площадок московских домов. Поиски причин увели бы нас слишком далеко. Назову одну: изменилось отношение к лестнице. Я бывал во многих больших городах и видел, что там (речь идет не о трущобах, а о средних, нормальных жилых домах) лестница является началом квартиры, в то время как у нас она является продолжением улицы. Большая принципиальная разница.

Отношение к лестнице изменилось, но к цветам нет. Цветы москвичи по-прежнему любят. Это для них где-нибудь там, на юге, утрамбовывают в чемодан мартовские ветки мимоз, а также розы, предпочтительно в бутонах, чтобы не помялись, не истрепались. Сплюснутые и слипшиеся извлекаются розы из чемоданов на московских рынках. Встряхиваются, расправляются. У иных полураспустившихся роз стараются пальцами вывернуть лепестки, чтобы выглядела пышнее, ярче. Стараются их опрыснуть водой, чтобы освежить, оживить. Но все это помогает мало. В чемоданной утрамбованной темноте и духоте розы задыхаются, умирают. Купленные и принесенные в московскую

квартиру, они редко пробуждаются от глубокого обморочного состояния. Не помогает даже реанимация, в приемы которой входят обламывание и расщепление стеблей, обливание стеблей горячей водой и растворение в вазе таблеток аспирина. Бутоны часто так и остаются бутонами, темными, с мертвенным оттенком, а полу распустившиеся розы быстро осыпают на скатерть свои бессильные лепестки.

Впрочем, в конце лета на всех рынках Москвы можно купить превосходные розы, выросшие и расцветшие у нас в Подмосковье. Тогда хороши, свежи и другие цветы — питомцы дачных участков Малаховки и Лобни, Краскова и Салтыковки, Болшева и Сходни... Какие прекрасные маки, садовые ромашки, ирисы, нарциссы, тюльпаны, гиацинты, левкои, лилии расставлены тогда на прилавках московских рынков.

Отшумят тут же — по сезону — благоухают вороха черемухи, сирени, жасмина.

Ландыши появляются в Москве раньше, чем в подмосковных лесах, — привозят из более южных областей, даже и с Украины. Случайно на углу в метро, в подземном переходе через улицу, у тетеньки, опасливо поглядывающей по сторонам, можно в Москве, и не заезжая на рынок, купить иногда букетик ночной фиалки, незабудок, купальниц, полевых ромашек и васильков. Это и хорошо. Не всегда человек заранее знает, что вечером ему понадобятся цветы. Не всегда есть время днем купить их. Как же быть, если рынки в семь часов закрываются? Фактически они расходятся еще раньше.

Есть в Москве два-три полулегальных базарчика, где можно найти цветы в неурочное время, то есть когда рынки закрыты.

До недавних пор такой цветочный базарчик существовал около Белорусского вокзала. Надо было пройти тоннелем под мост, под Ленинградский

проспект, и там начинался ряд палаточек и прилавков, где цветами торговали до поздней ночи. Но потом этот базарчик внезапно прекратился. Сейчас существует он у «Сокола». Около Белорусского вокзала осталась только традиция. Можно обнаружить рядом с продавщицами мороженого и газированной водой двух-трех наиболее отчаянных тетек, которые из обширной сумки извлекут для вас несколько астр, а то и роз.

Да, но есть же в Москве цветочные магазины, которые некогда, если верить Золотницкому, являлись «у нас главным центром цветочной торговли». Их, конечно, не 500, как в Париже в начале века, но все-таки более сорока.

Я давно не бывал в цветочных магазинах, и мне пришла в голову мысль посмотреть некоторые из них. Тут мы случайно разговорились с писателем Радовым, и он рассказал мне историю, которая настораживала. Ему понадобились цветы. Не знаю, почему он не обратился на рынок. В Союзе писателей есть человек, в обязанности которого входит доставить цветы для многочисленных писательских похорон и юбилеев. У этого человека, естественно, широкие связи с разными цветочными магазинами. После соответствующего звонка в крупнейший магазин и разговора с директором Радову было обещано 10 (десять) гвоздик. Явившись лично, Радов сумел выпросить еще одну и таким образом ушел с одиннадцатью гвоздиками.

Я стал задавать Радову вопросы, над которыми он расхохотался. Я спрашивал, почему, если не оказалось гвоздик, он не купил гладиолусы, тюльпаны, маки, лилии, розы, хризантемы, нарциссы, пионы, астры?

Смеется Радов своеобразно. Сначала в нем, в глубине, рождается хрип (как у старинных часов перед боем), который тянется долго. Если не очень смешно, все может так и кончиться этим хрипом. Но теперь Радов хохотал от души. Мои вопросы, как он говорил, были

наивны. Заинтригованный, я сам поехал посмотреть на цветочные магазины. Пока едем до первого из них, вновь всплывают в памяти строки: «стеллажи... цветочных магазинов... истинным наслаждением для глаз... сквозь гигантские зеркальные окна... всю роскошь тропиков или знойного юга... искусной группировкой растений... полным артистического вкуса, подбором цветов и аксессуаров...»

Боже мой! Трудно представить себе столь же унылое зрелище, как московский цветочный магазин! Пахнет похоронами и провалившимися Премьерами. Вид и атмосфера этих магазинов вместо радости и наслаждения (цветочный магазин!) навевает безотчетную тоску. Они почти не отличаются друг от друга ни обстановкой, ни этими, как их... аксессуарами, ни ассортиментом, ни тем более ценами. В деревянных ящиках растет несколько больших растений — пальмы, лавровые деревца, кактусы.

— Продаются ли эти растения и сколько стоят?

— Это наш инвентарь.

Так ответили мне продавщицы трех магазинов. Значит, в четвертом можно не спрашивать. Что же продается? В глиняных плошках комнатные растения двух-трех видов. Именно те, которые сейчас почти никто не держит в своих квартирах. Например, елочки. А цветы как таковые? Цветок в петлицу, цветок для подарка, букет цветов?

В магазине у «Сокола» в этот день торговали хризантемами. Штук двадцать хризантем стояло около продавщицы в ведре, в воде. Скоро кончатся. Вид у хризантем помятый, потрепанный. Но берут. Оглядывают цветок со всех сторон, мнут, колеблются, но берут. Ничего другого ведь нет. Ничего. Только хризантемы, больше похожие на астры. Бело-лилового и блекло-желтого цвета. Они измяты, полузавяли. Пока

есть в продаже те, белые крупные хризантемы, эти никто не берет.

Через четверть часа я уже в другом конце Москвы в цветочном магазине у Сретенских ворот. Вместо белых хризантем в ведре несколько белых гладиолусов. Мелкие, жалкие, полузавяли. На прилавке кустистые желтоватые и лиловатые хризантемы. Трогают, оглядывают и кладут опять на прилавок.

Магазин на проспекте Калинина (так называемый Новый Арбат) отличается от других. Он просторен, его интерьер организован по-современному. Даже маленький бассейн посреди магазина. Инвентарь расставлен с большой фантазией. Но, подойдя к прилавку, я вижу опять те же самые мелкие, похожие на астры, кустистые хризантемы бледно-желтого и бледно-лилового цвета. Поскольку их никто не берет, продавщицы пошли на хитрость. Они к этим совсем невыразительным и несвежим цветам присоединяют гвоздички и таким образом штампуют букеты, завернутые в целлофан. Гвоздички немного оживляют букет, но они сами помяты и блеклы. Кроме того, они никак не сочетаются с той невольной добавкой, с той «общественной нагрузкой», которую им навязали. Получились вместо букетов стандартные венички. Не представляю, кому можно и как можно преподнести такие цветы. Но других цветов нет. Я подозревал продавщицу, молодую полноватую девушку с пышной русой косой, которая за отсутствием торговли оживленно болтала с подружкой — кассиршей, и сказал ей примерно следующее:

— Я знаю, что московские продавщицы, прежде чем встать за прилавок, учатся в специальных школах или на курсах. Вы, наверно, учились тоже. У вас прекрасная профессия и прекрасное звание, вы — цветочница. Так как же вы могли выложить на прилавок и предложить нам эти чудовищные, эти бездарные, эти безграмотные

пучки растений? Разве вы не понимаете, что цветы в этих пучках не сочетаются друг с другом, не смотрятся, вопиют к вашему вкусу, вашей совести. На кого вы рассчитываете? На какой вкус? На какой уровень безразличия и равнодушия? Зачем же веками существовало искусство составлять букеты, зачем это искусство прославлялось поэтами, зачем лучшие букетчицы ваялись в мраморе великими скульпторами? Для того, чтобы дело пришло к этому жалкому тоскливому пучку цветов, который вы под названием букет пытаетесь всучить мне за, между прочим, один рубль семьдесят копеек?

Впрочем, в последнем я не прав. Продавщица вовсе не пыталась мне ничего всучать. Выслушав меня и не удостоив не только ответом, но и шевелением брови, она решительно, резко, зло покидала пучки цветов в ведро, затем повернулась и гордо и независимо, под возмущенный ропот остальных покупателей, пошла снова к кассирше, не подозревая, конечно, что уходит прямо на эту страницу.

Что же было в решительных ее жестах, когда она кидала букеты в ведро? О, тут было много всего по желанию и на выбор.

— Никто вас не просит покупать эти цветы. Не хотите, не надо.

— Ишь ты, нашелся грамотей. Если каждый будет учить...

— А пошли вы все... осточертело давным-давно!..

— Сама знаю, что цветы эти дрянь, но что же мне прикажете делать?

— Прекрасно вы все понимаете, и нечего притворяться наивненькими...

И все-таки я не понимал. Не понимаю, как может в цветочном магазине не быть цветов?!

— Почему же? Цветы у нас есть, — ответила мне другая, более спокойная продавщица в другом

магазине. — Вы можете заказать букет, или корзину, или венок... Очень часто заказывают у нас корзины для подношения артистам на сцену. Венки, конечно, для похорон.

— И если я захочу преподнести корзину или букет любимой актрисе, ваш магазин берется исполнить для меня такой букет?

— Конечно.

— Простите, а какие там будут цветы? Надо полагать, какие захочу я, ваш заказчик и покупатель?

— Еще чего!

— То есть как?

— А так. Цветы будут такие, какие окажутся в тот день на базе или в магазине.

— Но если моя актриса любит тюльпаны и терпеть не может гвоздик. Вы знаете, при виде гвоздик она... вы знаете, это ведь цветок крови...

— Чего?! Преподнесете, и будет довольна.

— Но это никак невозможно, чтобы гвоздики...

— Гражданин, сказано вам — какие будут на базе. Да вы не волнуйтесь, они вам соберут, и будет красиво.

— Я понимаю, но у цветов есть символика. Вас, наверно, учили? Хризантема, например, цветок печали и смерти. Лилия — непорочности. Ведь именно с лилией Архангел Гавриил... благовещение... Нарцисс — символ влюбленных в себя, камелия — цветок бесстрастия, незабудка — цветок постоянства и верности, омела — вечное обновление. Ее, знаете ли, дарят в Новый год и на рождество, ландыш служит эмблемой нежности, безмолвного излияния сердца, роза — поклонение и пламенная любовь, фиалка — скромность и обаятельность... А вы мне — какие будут!

Знаете, как написано в одной книжке: «Влетает в магазин как буря какой-то иностранец и, показывая на часы, говорит: «Сейчас пять часов, в семь мне нужна во

что бы то ни стало корзина самых редких орхидей, но помните, ровно в семь часов. Что это будет стоить?»

Вот как, милая девушка, нужно торговать цветами. Как думаете, сможет мне ваш магазин не к семи часам, а хотя бы к Новому году приготовить корзину самых редких орхидей?

— Разыгрываете вы меня, гражданин, по глазам вижу. А если хотите цветы по своему выбору — ступайте на рынок.

Так я понял, что москвичи сидят на своеобразном цветочном пайке, когда человек покупает не то, что ему хотелось бы купить, но то, что предлагает магазин и что человек покупать вынужден. И только рынок, опять же, сглаживает немного атмосферу и обстановку пайка.

Впрочем, когда слишком много цветов, это тоже... в некотором роде другая крайность.

Во время большого какого-то праздника в одной республике нас, приехавших на этот праздник московских гостей, завалили цветами. Не успеем выйти из самолета — навстречу бегут школьники с букетами в руках; не успеем прийти на фабрику — навстречу бегут девочки с букетами в руках; не успеем приехать в совхоз — цветы; собираемся уезжать из совхоза или с фабрики — опять цветы. У нас не хватало рук, чтобы держать тяжелые букеты. В гостиницах, в автомобилях, в салонах самолетов не хватало места, чтобы положить цветы. Это были осенние жирные георгины и астры, связанные в округлые снопы. Их были пуды, их были тонны. Оказывается, если цветов тонны, то они начинают производить впечатление силоса.

Иногда я вижу, как артисту или артистке на сцену чинно выносят корзину с цветами (какие оказались на базе). Таких корзин набирается несколько штук, и появляется подозрение: уж не сам ли артист их заказал? Очень они одинаковы. Впрочем, что я? База-то у всех магазинов одна!

В то же время иногда летит на сцену один цветок. Или маленький букетик фиалок. Если бы я был на сцене вместо артиста, для меня такой цветок и такой букетик, упавший на серые пыльные доски, был бы дороже чопорных корзин, перевязанных шелковыми красными и белыми лентами.

Извлечения

И. Бунин. О цветах и травах в стихах разных лет

...Есть на полях моей родины скромные
Сестры и братья заморских цветов:
Их возрастила весна благовонная
В зелени майских лесов и лугов.
Видят они не теплицы зеркальные,
А небосклона простор голубой.
Видят они не огни: а таинственный
Вечных созвездий узор золотой.
Веет от них красотой стыдливою,
Сердцу и взору родные они...

1887 г. (то есть очень раннее)

* * *

Понял я, что юной жизни тайна
В мир пришла под кровом темноты,
Что весна вернулась — и незримо
Вырастают первые цветы.

1889-1897 гг.

* * *

Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет,
Колокольчики, ландыши в чаще зеленой цветут,
На рассвете в долинах теплом и черемухой веет,
Соловьи до рассвета поют.
Скоро троицын день, скоро песни, венки и
покосы...
Все цветет и поет, молодые надежды тая...
О, весенние зори и теплые майские росы,
О, далекая юность моя!

1900 г.

* * *

А на селе с утра идет обедня в храме:
Зеленою травой усыпан весь амвон,
Алтарь сияющий и убранный цветами
Янтарным бликом свеч и солнца озарен.

1900 г.

* * *

Крупный дождь в лесу зеленом
Прошумел по стройным кленам
И лесным цветам...
После бури молодея
В блеске новой красоты,
Ароматней и пышнее
Распускаются цветы.

1888 г.

* * *

Темной ночью белых лилий
Сон неясный тих.
Ветерок ночной прохладой
Обвеваает их.
Ночь их чашечки закрыла,
Ночь хранит цветы
В одеянии невинном
Чистой красоты.

1893 г.

* * *

Пахнет медом, зацветает
Белая гречиха...
Звон к вечерне из деревни
Долетает тихо...

1892 г.

* * *

Из зреющих хлебов, как теплое дыханье,
Порою ветерок касается чела.
Но спят уже хлеба. Царит кругом молчанье.
Молчат перепела.

1897 г.

* * *

Веет утро прохладой степною.
Тишина, тишина на полях!
Заросла повиликой-травой
Полевая дорога в хлебах.
В мураве колеи утопают,
А за ними с обеих сторон
В сизых ржах васильки зацветают,
Бирюзовый виднеется лен.
Серебрится ячмень золотистый,
Зеленеют привольно овсы,
И в колосьях брильянты росы
Ветерок зажигают душистый.
И вливает отраду он в грудь,
И свежает с души он тревоги...
Весел мирный проселочный путь,
Хороши вы, степные дороги!

КАНУН КУПАЛЫ

Не туман белеет в темной роще —
Ходит в темной роще Богоматерь.
По зеленым взгорьям, по долинам
Собирает к ночи Божьи травы.
Только вечер им остался сроку,
Да и то уж солнце па исходе:
Застят ели черной хвоей запад,
Золотой иконостас заката.
Уж в долинах сыро — пали тени,
Уж луга синеют — пали росы,

Пахнет под водою медуница,
Золотой венец по рощам светит.
Как туман бела ее одежда,
Голубые очи — словно звезды,
Соберет Она цветы и травы
И несет их к божьему престолу.
Скоро ночь — им только ночь осталась,
А наутро срежут их косами,
А не срежут — солнце сгубит зноем,
Так и скажет Сыну Богоматерь:
«Погляди, возлюбленное Чадо,
Как земля цвела и красовалась!
Да недолог век земным утехам:
В мире Смерть — она и жизнью правит».
Но Христос ей молвит: «Мать! Не солнце
Только землю тьма ночная кроет.
Смерть не семя губит, а срезает
Лишь цветы от семени земного.
И земное семя не иссякнет.
Скосит Смерть — Любовь опять посеет,
Радуйся, Любимая! Ты будешь
Утешенье до скончанья века!»

* * *

Зато все ярче и нежнее
Живая неба бирюза:
И смотрят, весело синяя,
В кустах подснежников глаза...

* * *

...Полями пахнет — свежих трав,
Лугов прохладное дыханье!
От сенокосов и дубрав
Я в нем ловлю благоуханье...

* * *

...Поздним летом в степи на казацких могилах
«Сон-цветок» в полусне одиноко цветет.
Он живой, но сухой. Он угаснуть не в силах,
Но весна для него не придет...

* * *

...Воз тонет в зелени, как челн в равнине вод,
Меж заводей цветов, в волнах травы плывет,
Минуя острова багряного бурьяна...

* * *

...Растет, растет могильная трава,
Зеленая, веселая, живая,
Омыла плиты влага дождевая,
И мох покрыл ненужные слова...

* * *

...Брат в запыленных сапогах
Швырнул ко мне на подоконник
Цветок, растущий в парах,
Цветок засухи — желтый донник.
Я встал от книг и в степь пошел.
Ну да, все поле — золотое,
И отовсюду точки пчел
Плывут в сухом вечернем зное...

* * *

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет — господь сына блудного
спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»
И забуду я все — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленям припав...

* * *

Муза, крапиву воспой... На мой взгляд, крапива — одно из самых любопытных растений. Во-первых, зачем ей жалиться? А между тем природа ничего напрасно не делает. На что уж бесполезной у нас считается слепая кишка. Атавизм, пережиток, излишество. Начали в Америке удалять ее в младенческом возрасте, чтобы потом взрослому человеку не нужно было хлопотать и заботиться. И что же? Развитие ребятишек без слепой кишки пошло ненормальным путем. Заметили

нежелательные отклонения. Пришлось отказаться от самонадеянного вмешательства в дела природы: молодые американцы растут все с аппендиксами.

Пчелиное жало объяснено, змеиный яд понятен, ядовитые колючки некоторых рыб не вызывают никаких кривотолков. Но зачем жжется крапива? Защищая себя? От кого? Почему другие соседние травы обходятся без такой защиты и процветают? Да и какой вред крапиве, если ее съест какое-нибудь травоядное существо? Чтобы ее извести, нужны не благодущная корова, не лось, не коза, а железо, огонь, терпенье и многие годы.

Шипы на розовом кусте, но ведь там цветок, и какой! Каждый, кто увидит, потянется сорвать и понюхать. Но и шипы на розе появились, надо полагать, задолго до человека. И оказались они, между прочим, с точки зрения защиты от человека, праздными. Человек все равно выращивает и срезает розы и вывел 7000 (семь тысяч) сортов. Нет, непонятная, непонятная трава крапива. Кстати, насчет невзрачности ее я не согласен. Один раз сидели на лавочке и разговорились.

— Ну, знаешь! Это надо уж до чего дойти, чтобы утверждать, будто крапива красавица! Тогда не надо было бы выращивать георгины, нарциссы, маки... Крапива сама везде растет, только любуйся.

Я отошел за угол дома, сорвал три высоких свежих стебля крапивы, унес их в дом, поставил в высокую узкую вазу, установил около золотистой тесовой стены. Свет падал удачно, сбоку: не плоское, а объемное освещение. Пригласил друзей-спорщиков.

Зубчатые, немного никнувшие листья, расходящиеся парно, во многих местах четырехгранного стебля, полнокровная^[6] темная зелень, сила и мощь в сочетании с несомненным чувством личного достоинства произвели на всех нас, смотрящих, сильное впечатление. Мы стояли и любовались. Чем дольше

любовались и вглядывались, тем больше хотелось смотреть. Реплики стихли. Наступило безмолвное созерцание.

— Она прекрасна! — сказал наконец поэт. — Она прекрасна, и пятна нет на ней.

— А зачем же мнем и не смотрим?

— Кто-то из великих мужей сказал, что если бы селедки было мало, она считалась бы самым тонким и редким деликатесом.

— Ничего, скоро будет! — пошутил один из нас, уже безотносительно к нашей крапиве и разрушая атмосферу очарования.

Но можно ли крапиву не мять. С первых шагов (если в деревне) преследует мальчишек досадная, злая трава — крапива. Мяч закатился обязательно в крапиву. Надо лезть и доставать, обжигаясь. Рвешь малину (в особенности в лесу), руки и ноги остерекает крапивой. Провинился — можно получить крапивой по ногам, а то и повыше, тем более если провинился перед чужими людьми, например залез в огород. Пошлют полоть гряды: попадается под руки чрезмерно злая мелкая крапивка, которая и растет только в грядках вместе с сорной травой. Белые на руках волдыри нестерпимо горят, а потом, опадая, зудят и чешутся. Ловишь рыбу на удочку, захочешь вытереть руки о траву (не спуская глаз с поплавок), непременно попадешь руками на злую приречную крапиву.

Но там же, около утренней реки, близ воды, дышащей теплом и туманом, в кустарнике, во влажном утреннем микроклимате до чего же крепко, до чего же хорошо пахнет крапива!

Саша Косицын, когда в Москве начнем вспоминать наши места и речку, текущую через лес, все время обращается к одному и тому же вопросу:

— Слушай, чем это пахнет, какой травой, когда сидишь утром у воды? На мяту как будто не похоже...

— Мятой пахнут руки, когда вытираешь их о траву. А в воздухе пахнет обыкновенной крапивой.

— Да ну?!

И вот теперь еще один немаловажный вопрос.

Крапива водится в кустарниках, по берегам речек, в зарослях лесной малины, в лесных оврагах, называемых у нас буераками.

В чистом поле, среди ржи, овса, гречки, гороха крапивы не видать. На чистом лугу, среди луговых цветов и трав крапивы не встретишь. Вдоль проселочных, полевых дорог крапивы нет. Она изменяет своим местам обитания только для того, чтобы поселиться около человека.

Как только признак какой-нибудь человеческой деятельности, как только человеческое жилье, крапива уж тут как тут. Главным образом, ее привлекают признаки строительной деятельности.

По существу, крапива — лесная трава. Но ведь медуница не выходит из леса на стук человеческого топора или молотка. Ландыш не выманишь из-под сени леса. Кислица, грушанка, лесной колокольчик тверды в своих привязанностях и привычках. Но крапива немедленно покидает свои буерачные, береговые, овражные уголья и появляется перед человеком, как только почувствует его близость.

Выкопайте колодец среди чистой поляны, вокруг которой на километр не росло ни одной крапивинки, тотчас ваш колодец окружит зеленой толпой неизвестно откуда взявшаяся крапива. Поставьте сруб, соорудите погреб, поднимите забор, сложите поленницу дров, высыпьте корзину щепок или другого мусора, крапива уж тут как тут!

Может быть, она знает, что где есть человек, там возможны и разные человеческие бедствия: пожар, война, голод, болезнь? Может быть, она заранее предлагает себя на вырубку, как весьма питательная и

целебная трава (во много раз питательнее капусты)? Ведь она особенно буйствует там, где действительно замечается человеческое бедствие, неблагополучие. О, раздолье крапиве от края и до края России на месте исчезающих домов, деревень и сел! Ну, положим, крестьяне-то многие, колхозники уезжают из деревень не от голода, не от чумы, не от крайней нужды, а по очень сложным причинам, благодаря очень сложным процессам, происходящим теперь, уезжают в города, накопив денег и покупая в городах дома, уезжают, засасываемые растущей промышленностью (и потому, что ослабили корешки, привязывающие к земле, а то и пооборвались), но крапива, конечно, не может разобраться во всех социологических тонкостях. Она видит, что исчезают дома, оставляя после себя ямы и кирпичные трубы, она думает, что тут бедствие, неблагополучие, и набрасывается, и растет, и жиреет на покинутых пепелищах, в то время как бывшие хозяева домов благополучно работают на заводах, ходят в кино, забивают «козла», потягивают пиво у фанерных киосков. Не умнее же крапива наших социологов и экономистов, которые утечку деревни считают не бедствием, а неизбежным, закономерным процессом?

Или, может быть, крапива набрасывается на следы человеческой деятельности из других побуждений. Может быть, природа велит ей: «Иди и все исправь. Сделай как было». И вот на брошенных местах, на ямах от бывших домов крапива будет расти десятки лет, пока всякий след человека не переработает в себе так, что будет здесь опять бескрапивное, но и безмусорное место. Зарубцется рана, сотрется след. Правда, говорят, что и до сих пор ученые-археологи именно по крапиве определяют стоянки древних викингов в Европе. Но что природе пятьсот лет и куда ей торопиться?

В присланной мне тетради одного ученого старичка профессора, впрочем, я вычитал следующие, не очень привычные для нормальной современной научной речи слова о крапиве: «Растет на почве, испорченной человеком, исправляя ее, подготавливая для других растений. Это сильное растение, но замкнутое. Оно не выказывает своей силы вовне, например, в виде цветов, а заключенную в ней красоту выявляют бабочки, личинки которых питаются листьями крапивы («павлиний глаз», «крапивница»). Крапива напоминает некоторых людей, которые делают нужную работу, делают много хорошего, но не показывают этого (см. с. 54 этой тетради)».

На странице 54 я прочитал еще и следующее. Как говорится, за что купил, за то и продаю.

«Крапива растет всюду, где есть люди. Она стоит перед нами исполненная серьезным, даже несколько отчужденным спокойствием, глубоко связанная с теми силами, внешним выражением которых является ветер. Самое важное и самое существенное в крапиве — это живущий в ней сильно выраженный железистый процесс. Этот процесс железа придает крапиве, с ее темно-зелеными листьями, такой исполненный достоинства вид.

Сущность крапивы в том, что в ней совершается процесс, обратный процессу образования крови в человеке. Она — страж интернированного в крови человеческого существа, регулируя действие силы тяжести и обратной ей силы подъема... Медицина применяет ее для очистки крови...»

Дальнейшее оставляю в тетради на той самой 54-й странице, равно как и на совести профессора.

Каждый год в мае я боюсь прозевать крапивный сезон. Крапива едва ли не самая первая показывается из черной, бестравной в то время земли и растет очень быстро. Значит, если принять нашу шутливую первую

теорию, что крапива идет на выручку человека, то в этом мы найдем полное совпадение, потому что если бы выпала голодная зима и если бы пережившие ее люди стали с вожделением и надеждой глядеть, чем им поможет весна, природа, то первыми они увидели бы яркие сочные кустики крапивы, растущие не по дням, а по часам, так и прущие из земли, словно вот именно спешат на выручку.

Очень важно приехать в это время в деревню, чтобы захватить крапиву молодой, нежной и сочной.

Вооружившись ножницами и посудой, например решетом, я иду в сад. Там и тут под вишеньем, около старой избушки, около малины сотворились из мягкого апрельского тепла и волглой земли, соткались из солнечного воздуха и налились соком и зеленью кустики крапивы. Они пока что выглядят как кустики, а не как сплошные высокие заросли. Возьмешься пальцами левой руки остороженько за верхушку, а ножницами чиркнешь под третью пару листьев. Оставшееся в левой руке бросишь в решето или блюдо.

Когда суп, какой бы он ни был, готов и можно нести его на стол, надо бухнуть в кипящую кастрюлю ворох свежей, мытой крапивы. И как только кипенье в кастрюле, усмиренное на несколько минут прохладной крапивой, возобновится, снимают кастрюлю с огня, разливают густое, зеленое хлебово по тарелкам. Весенняя, майская целебная и питательная еда готова. Крапива остается и в тарелке ярко-зеленой, кажется даже еще ярче, чем росла на земле. Она как живая, только что не жалится.

Правда, Володя Дудинцев запротестовал, когда я поделился с ним столь простым и эффективным рецептом.

— Нет. Надо откинуть ее и протереть через дуршлаг или решето, а в тарелку обязательно положить половину крутого яйца. И положить его желткомверху.

— Зачем?

— Ну как же... красиво.

Муза, крапиву воспой... Но все же настоящую оду крапиве я вычитал в травнике В. Махлаюка. И написана она там суховатыми деловыми словами. И никакой поэтический этюд не заменит в данном случае точных конкретных знаний. Вот она, эта ода.

«Применение. Крапива широко применяется в народной медицине разных стран. Русская медицина использовала ее еще в XVII веке и высоко ценила как хорошее кровоостанавливающее и ранозаживляющее средство.

Крапива обладает мочегонным, слабительным, отхаркивающим, противосудорожным, противовоспалительным, «кровоочистительным», кровоостанавливающим и ранозаживляющим средством. Она усиливает деятельность пищеварительных желез и выделение молока у кормящих женщин. Крапива увеличивает процент гемоглобина и количество эритроцитов в крови. Имеется указание, что отвар листьев может понижать содержание сахара в крови.

В русской народной медицине и народной медицине других стран водяной настой и отвар крапивы применяют при болезнях печени и желчных путей, почечно-каменной болезни, дизентерии, водянке, хронических запорах, простудных заболеваниях, болезнях дыхательных путей, геморрое, остром суставном ревматизме, подагре. Настои крапивы употребляют также, как внутреннее «кровоочищающее» средство, улучшающее состав крови при лечении различных кожных заболеваний (лишаев, угрей, фурункулов). Отвар листьев с ячменной мукой пьют при грудных болях.

В смеси с другими травами крапиву используют при туберкулезе легких. Листья крапивы входят в состав

различных желудочных, слабительных и поливитаминных сборов.

Водный настой крапивы издавна применяют при геморроидальных, маточных и кишечных кровотечениях.

В последние годы крапиву стали применять и в научной медицине при маточных и кишечных кровотечениях в виде жидкого экстракта. Клиническая проверка показала, что он не вызывает никаких вредных явлений. Жидкий экстракт обладает также мочегонным, противолихорадочным и противовоспалительным действием. Для повышения свертываемости крови рекомендуется применять смесь жидких экстрактов крапивы и тысячелистника. Кровоостанавливающее действие крапивы объясняется наличием в ней особого антигеморрагического витамина К, а также витамина С и дубильных веществ.

Отвар корневищ и корней крапивы двудомной в народной медицине применяют внутрь при фурункулезе, геморрое и отеках ног, а настой корней — как сердечное средство. Обсахаренные корневища крапивы употребляют также при кашле.

Настой корней жгучей крапивы применяют для лечения туберкулеза. Настой цветков крапивы двудомной в виде чая пьют от удушья и при кашле для отхаркивания и рассасывания мокрот.

Крапива является не только внутренним, но и наружным кровоостанавливающим средством и ранозаживляющим средством. Инфицированные раны скорее освобождаются от гноя и быстрее заживают, если их присыпать порошком крапивы или прикладывать к ним свежие листья. Отвар всего растения применяют наружно для обмывания и компрессов при опухолях. Высушенные и размельченные листья используют при носовых

кровотечениях, а свежими листьями уничтожают бородавки.

Во Франции настой крапивы втирают в кожу головы для роста и укрепления волос при их выпадении.

Еще в отдаленное время крапиву в народной медицине употребляли в качестве кожного раздражителя (то есть фактора рефлексорной терапии).

Листья крапивы благодаря содержанию в них фитонцидов обладают свойством сохранять быстропортящиеся пищевые продукты (например: выпотрошенная рыба, набитая и обложенная крапивой, сохраняется очень долго).

Молодые побеги крапивы (стебли и листья) используют для приготовления зеленых щей. На Кавказе из вареных измельченных листьев крапивы, смешанных с толчеными грецкими орехами и пряностями, готовят вкусные национальные блюда.

Крапива является также весьма ценным кормом для домашних животных. Она стимулирует их рост и развитие. Коровы, получая крапиву, дают молока больше и лучшего качества. У кур увеличивается яйценоскость.

Из лубяных волокон крапивы можно изготовить грубые ткани и веревки (и готовили раньше. — В. С.).

Крапива обладает многосторонним действием на организм человека и заслуживает широкого применения в медицине». Уф!

ИЗВЛЕЧЕНИЯ

М. Метерлинк

«Они интересны и непонятны. Их туманно зовут «сорными травами». Они ни на что не нужны. Там и сям, в глуши старых деревень, некоторые из них ждут еще на дне банок аптекаря или торговца травами прихода

больного, верного традиционным настойкам. Но неверующая медицина пренебрегает ими. Их больше уже не собирают по обрядам старины, и наука «знахарок» изглаживается из памяти добрых женщин. Против них объявили беспощадную войну. Крестьянин их боится, плуг их преследует; садовник их ненавидит и вооружился против них звонким оружием: лопатой, граблями, скребками, киркой, мотыгой и заступом. На больших дорогах, где они ждут последнего убежища, прохожий давит их, телега их мнет. Несмотря на все — вот они, постоянные, уверенные, кишащие, спокойные, и все они готовы откликнуться на призыв солнца. Они следуют за временами года, не ошибаясь ни одним часом. Им неведом человек, истощающий силы, чтобы покорить их, и как только он отдыхает, так они вырастают на его следах.

Они продолжают жить — дерзкие, бессмертные, непокорные. Они наполнили наши корзины чудесными переродившимися дочерьми, но сами бедные матери остались тем же, чем были сотни тысяч лет назад. Они не прибавили к своим лепесткам ни одной складки, не изменили формы пестика, не изменили оттенка, не обновили аромата. Они хранят тайну какой-то упорной власти. Это вечные прообразы.

Земля принадлежит им с начала мира. В общем, они олицетворяют неизменную мысль, упрямое желание, главную улыбку земли. Вот почему их надо спросить. Они, очевидно, хотят нам что-то сказать. Кроме того, не забудем, что они первые, вместе с зарей и осенью, с весной и закатами, с пеньем птиц, кудрями, взором и божественными движениями женщины, научили наших отцов, что на земном шаре есть бесполезные, но прекрасные вещи».

Тем, кто приезжает ко мне в гости в Алепино, я даю заполнять анкету. Не гостиничную, не служебную: год и место рождения, национальность и образование, но свою, придуманную анкету — шестьдесят шесть вопросов. Она интересна и мне и тому человеку, который ее заполняет. Потому что надо же хоть раз в жизни сесть над белым листом бумаги и задуматься о том, какие у тебя любимые цветы, дерево, явление природы; какой исторический подвиг тебя наиболее восхищает, какую книгу ты ценишь больше других, судьба какого исторического лица представляется тебе наиболее трагичной или в чем ты видишь идеал государственного устройства...

Так вот о цветах. Чаще всего в анкете отвечают друзья: ромашка, василек, ландыш, роза. Встречается незабудка, есть анютины глазки, есть гладиолус, гвоздика, донник... Если продолжать эту анкету, начнут встречаться, вероятно, жасмин, сирень, черемуха, хризантемы, мак... Естественно, есть более или менее установившийся круг популярных и любимых цветов.

Но однажды за чашкой чая в Москве зашел разговор о цветах, в частности о любимых. Помнится, так был поставлен вопрос: если бы заказать художнику картину, чтобы висела в доме, какие цветы вы предпочли бы видеть изображенными на картине?

— Лютик! — воскликнула Татьяна Васильевна. — Я бы хотела лютик!

Ее восклицание прозвучало неожиданно. Почему — лютик? Но с другой стороны — почему бы и нет?

Я стал вспоминать лютики, их глянцево-лаковые лепестки, хотел представить, как они выглядели бы, написанные художником, но представился мне не букет лютиков, а наш летний луг. Ведь именно по этим цветам можно узнать летом, где и как текли через наш луг весенние мутные воды. Сначала они текут по дну оврага узким и бурным ручьем, потом, попадая на

плоский луг, разливаются мелкой ширью, но все же не теряют лица потока. Всегда, даже на ровной земле найдется ложбинка чуть-чуть поглубже остального места, а такую ложбинку всегда найдет вода. Так, то разливаясь, то вновь сужаясь, то дробясь на несколько полос, то вновь собираясь в одну, вода добирается до крутого берега реки. Здесь она снова предстает мускулистым хлещущим потоком и падает с шумом в большую речную воду, чтобы потеряться в ней, но зато в конце концов достичь моря. Потечет вода к далекому Каспию, частица ее (ну хоть стакан), возможно, неизвестным Волго-Доном попадет и в Черное море, и, сделавшись соленой и синей, гуляя там на белопенном просторе, забудет вода наш зеленый лужок, и как текла через него, пробиралась к реке, и как ходил по ней Серега Тореев в резиновых сапогах, и как ваш покорный слуга перепрыгивал через нее, опираясь на можжевелевую витиеватую палку, и как успела она косым отражением отрезать и поддержать в себе крутой бугор с темными елочками на нем, и как пахла апрельская луговая земля, по которой она текла.

Но луг ее не забудет до самой осени. Там, где она текла темными потоками, загустеет трава, золотыми потоками зацветут лютики. И получается, что лютики — это воспоминание земли о весенней воде.

Конечно: эти дружные лаковые цветочки цветут не только на лугу, на месте мутных весенних ручьев, но и в саду, и около дороги, и на лесных полянах. Они, выражаясь казенно, активно участвуют в создании летней цветочной гаммы и тем не менее как-то умудряются не бросаться в глаза. Мимо поляны, цветущей лютиками, пройдешь, не обратив на нее особенного внимания, как никогда не прошел бы мимо поляны, цветущей купальницами, ромашками и даже одуванчиками. Но Татьяна Васильевна воскликнула:

«Лютик! Я бы хотела лютик!» — и с этим ничего не поделаешь. Попал в любимые.

То же самое случалось у меня несколько раз со стихами и рассказами. Про некоторые думаешь: включать их в сборник или не включать? Не очень-то удались. Без них и сборник как будто цельнее, крепче. Пожадничаешь и оставишь, не выбросишь. А потом приходит читательское письмо. Оказывается, одно стихотворение, которое не хотел включать, кому-то (пусть хоть одному человеку) понравилось больше других.

То же самое случается и с людьми. Смотришь — невзрачная, некрасивая девушка, пожалеешь даже ее, а она, глядь, замужем पहले красавицы. Значит, для самой дурнушки дело не безнадежно. Всегда найдется человек, который разглядит в ней некую, только ему видную красоту и полюбит.

А вовсе некрасивых цветов, как известно, не бывает.

* * *

Одуванчики цветут с весны и до осени. В течение целого лета не выберешь дня, когда нельзя было бы увидеть этот цветок. Но все же бывает в мае пора, когда разливается по земле их первая, самая дружная, самая яркая волна.

Москвичи, поезжайте в Коломенское! В ранние утренние часы солнце смотрит там со стороны Москвы-реки, со стороны знаменитого «Вознесенья», и вам придется пройти сначала всю зеленую поляну до музея, до вторых ворот, а потом оглянуться.

Справа вы увидите старинную медоварню, сложенную из неправдоподобно толстых бревен, темных, словно пропитавшихся медом, с которыми

столь удачно сочетается омывающая их зеленым прибоем трава.

Прямо, на противоположном от вас конце ровной поляны, на другом ее как бы озерном берегу, стоит бело-сахарная, с очень синими (во всяком случае, синее майского неба) куполами Казанская церковь. Все пространство между вами и ней (а справа бревенчатая медоварня) мягко и ласково ослепит вас чистым теплом золото одуванчиков.

Не мудрено и в других местах увидеть цветущие одуванчики и даже в таком количестве и в такой, я бы сказал, равномерной распределенности, но не везде в золотое озеро их глядится душистая бревенчатая медоварня и сахарно-голубая церковь. Кажется, что и одуванчики здесь не расцвели вчера, а остались вместе с самим Коломенским от семнадцатого века.

Со всех сторон, из-за вишневых садов, из-за дубового парка, из-за Москвы-реки и со стороны шоссе, надвигается шум и скрежет наступающего города, который с каждым годом все туже стягивает кольцо. И уже дрожит и надтреснуто дребезжит от этого грохота одуванчиковая коломенская тишина. Скоро, не выдержав напора, она расколется, разлетится вдребезги. Торжествующий и злорадствующий шум нахлынет и погребет ее под собой, возможно, вместе с одуванчиками.

Один мой знакомый высказал в разговоре мысль, что всякий цветок так или иначе видом своим или по крайней мере схемой стилизует солнце.словно миллионы маленьких детей взялись рисовать его, кто как может. У всех получается по-разному, но в основе каждого рисунка — кругленький центр, а от него в разные стороны — лучи. Кругленький центр то маленький, то большой, лучи то узкие, то широкие, полукруглые, то их много, то пять или шесть, то они белые, то красные, то синие, то как само солнце.

Мысль приблизительная, но позабавиться можно. Хотя и некуда деть при этом ни клеверной шапки, ни орхидей, ни всех, так называемых, мотыльковых, ни злаков, ни какой-нибудь там кошачьей лапки. Но вот что правда, то правда — одуванчик срисован с солнца.

Не будем сейчас думать о том, что, сорвав и держа стебель, мы держим вовсе не один цветок, а соцветие, корзину, как выражаются ботаники, и что один цветок представляет из себя тонюсенькую трубочку с зазубренными краями (неужели вы пошлете меня изучать незабудку!). Но, глядя на поляну и видя ее всю золотой, невозможно освободиться от впечатления, что некий художник-гигант окунал свою кисть прямо в солнце и разбрызгивал его по зеленой земле.

Еще больше это похоже на бесчисленные зеркальца, в каждом из которых отражается солнце. Сходство дополняется еще и тем, что, когда солнце уходит надолго или на ночь, одуванчики закрывают свои цветы, гаснут, поляна отражает теперь лишь монотонное потемневшее небо.

Поворачиваются за солнцем в течение долгого дня почти все цветы, но закрываются при отсутствии солнца очень редкие, и в том числе и в первую очередь одуванчики.

Никто не знает (и, вероятно, никогда не узнает), зачем понадобился одуванчику стебель в виде тонкостенной трубки вместо обыкновенного, зеленого шершавого стебля, Но зато всякий знает, зачем у него появится потом округлая пушистая головка. В человеческое сознание это растение входит, может быть, больше именно этой пушистой головкой, нежели самим цветком. У него и название не по цветку (скажем, могло бы быть желтоцвет, солнццвет, солнечник и т. д.). А — одуванчик.

Когда Александру Твардовскому понадобилось найти для поэмы «Дом у дороги» признак жизни,

земного бытия и земной радости, то от имени новорожденного человека он произнес такие слова:

Зачем мне знать, что белый свет
Для жизни годен мало?
Ни до чего мне дела нет,
Я жить хочу сначала.
Я жить хочу, и пить, и есть,
Хочу тепла и света,
И дела нету мне, что здесь
У вас зима, не лето...
Я на полу не двигал стул,
Шагая вслед неловко,
Я одуванчику не сдул
Пушистую головку.
Я на крыльцо не выползал
Через порог упрямо,
Я даже «мама» не сказал,
Чтоб ты слыхала, мама!

Как видим, наш скромный «протезе» один удостоился встать рядом с такими многозначимыми вечными ценностями, как свет, тепло, первый шаг, первое слово и даже мама.

В самом деле, при слове «одуванчик» не большинство ли увидит мысленным взглядом не желтый цветок (хотя бы и с пчелой, старательно ползающей по нему), но белый пушистый шарик, а некоторые наиболее внимательные еще и белую припухлую лепешечку, в черных дырочках, которая остается после того, как дунешь на одуванчик и целый парашютный десант начнет медленно опускаться на землю с высоты вашего роста, вашей поднятой вверх руки.

Параютный десант. Парают мы изобрели в двадцатом веке. Одуванчик изобрел его миллионы лет назад. Можно утверждать, что природа нашла его на ощупь, сослепу, но прежде надо положить единственный парашютик на ладонь или на лист бумаги и разглядеть его, по возможности в лупу.

Мы увидим, что вся графика этого удивительного приспособления достойна самого точного и красивого чертежа. Не говоря о инженерных, математических расчетах. Вес семечка, длина ножки, площадь зонтика, все находится в строгом математическом соответствии, и если бы современные инженеры при помощи логарифмических линеек и счетных машин взялись рассчитать подобный воздухоплавательный аппарат с точки зрения оптимальности его пропорций, то они пришли бы к пропорциям и формам аппарата, который вы держите на своей ладони и которые во множестве летают по воздуху в ветреный летний день.

Впрочем, есть варианты. У мать-мачехи тоже парашют, но ворсинки у нее начинаются прямо от семечка и расходятся конусом, отчего все приспособление похоже на мяч бадминтона, называемый еще воланчиком. Козлобородник ближе к одуванчику, но так как семечко у него тяжелее и больше, то и весь парашют, согласно конструкторским перерасчетам, соответственно увеличен в размерах. Есть и совсем «ленивые» варианты — бесформенный клочок пуха, а семечко спрятано в середине. По сравнению с этим комочком пуха парашют одуванчика — как если бы сверкающее четкими никелированными спицами велосипедное колесо рядом с кругляшом, отпиленным от бревна, который тоже может катиться по земле и катали, бывало, насадив его на гвоздь и прикрепив к палке.

Представляю себе разговор, когда, разработав проект и все рассчитав, инженер-конструктор принес

чертежи на утверждение какому-нибудь конструктору главнее его.

— Все хорошо, — сказал главный конструктор, — но если семечко, отлетев по ветру, уже упало на землю, стоит ли ему подниматься снова и лететь дальше?

— Понял. Сейчас поправлю. На новом чертеже семечко, гладкое в первом случае, было снабжено мелкими острыми зазубринками, чтобы крепче держаться в почве.

— Вот видите, мелочь, а из-за нее могло нарушиться равновесие в природе. Хорошо. Утверждаю. Да будет так.

И миллиарды веселых белых пушинок полетели по ветру над зеленой землей, чтобы бесконечно зажигались на ней все новые и новые цветы, похожие на маленькие солнышки.

Между прочим, салат из молодых листьев одуванчика, как о том пишут во многих книгах, действительно съедобен и, наверно, питателен. Чтобы удалить из листьев их горьковатый вкус, французы рекомендуют класть их на полчаса в соленую воду. Тут дело вкуса. Из лука, например, мы не стараемся удалить горечь, но лишь смягчаем ее сметаной, маслом, другими овощами и травами.

* * *

Возьмите три сердечка, какими их рисуют, когда хотят пронзить стрелой на открытке или какими обозначают червонную масть на игральных картах, и три эти сердечка соедините остриями в одной точке. Сделайте эти соединенные сердечки нежно-зелеными, посадите их на тонкий стебелек пяти — семисантиметровой высоты — и вы получите кислицу, или заячью капусту, изящное, милое растение,

украшающее тенистые, преимущественно хвойные, а еще преимущественнее еловые леса.

У других трав листья сидят на стебле по всей длине (как у крапивы) или расположены розеткой около самой земли (как у одуванчика), а здесь — особенно. Стебелек гладкий, словно стеклянный, полупрозрачный, розоватый, а ближе к земле темно-розовый до красного. Нет на нем ни чешуйки, ни ворсинки. Он весь как медная проволочка. Венчается же тремя листочками, о которых шла речь.

Листочки, под воздействием тайного механизма, нагнетающего в них упругость и силу, то распрямляются и держатся горизонтально земле, парят, то все три поникают и повисают вдоль стебелька.

Заросли непоникшей кислицы больше всего похожи на пруд, затянутый ряской, потому что все листочки держатся плоско, на одном уровне и образуют ровную зеленую гладь, светло-зеленую, светяще-зеленую, контрастно-зеленую в царстве темных, почти черных тонов замшелого елового леса. В самом деле, где проглянет черно; стволы деревьев темно-коричневые, хвоя темная, сумрачная, воздух сам — полумрак. Только кислица и светится около земли, как если бы устроили снизу скрытую электрическую подсветку.

Взяв за листочки, легко выдернуть растеньице вместе с длинненьким стебельком, который чем ниже, тем краснее, но, с другой стороны, прозрачнее, стекловиднее. Надергав несколько штук, свернешь их в комок да и отправишь в рот, станешь жевать. Кислота щавеля покажется грубой и какой-то шершавой после тонкой, острой, с примесью явственной сладинки кислоты заячьей капусты. Но как и щавеля, много не съешь. Да, говорят, и не нужно есть ее в большом количестве.

Считается, что эта трава-барометр, и очень точный. К дождю складывает свои листочки. Зная это, я стал

посматривать на нее в лесу. Вижу — листочки сложены. Вот беда. Завтра нужна была бы хорошая погода. Прошел сто шагов — листочки развернуты. Что за притча!

Несколько дней морочила мне таким образом голову кислица. Потом однажды, выйдя на обширные заросли ее, я догадался, в чем дело. На ровной, зеленой плоскости лежала ровная лесная тень. Но были и светлые пятна, от солнца, пробившегося сквозь еловые ветви. И вот ясно было видно, что в тени листья кислицы расправлены и блаженствуют, а в солнечных пятнах поникли, словно боясь обжечься. Ну и правда, очень нежна эта травка. Нельзя ей выставляться на яркий и горячий солнечный свет.

В мае кислица выгоняет еще один стебелек, тоньше своего основного стебля. Он поднимается выше зеленой плоскости листьев, но все равно в лесной тени был бы почти не виден, если бы на нем не распускался очаровательный белый колокольчик.

Белый-то он белый, но если сорвать и разглядеть на свету, весь окажется в сиреневых прожилках и, как водится, желтенькие тычинки в глубине колокольчика.

Таким образом, вот картина в еловом лесу: ровная «ряска» кислицы, а над ней на невидимых стебельках повисают в темном воздухе мириады маленьких колокольчиков.

Нисколько не хуже, когда около старого трухлявого пня встретишь иной раз отдельную стайку кислицы с шапку величиной, но яркую, свежую, и несколько колокольчиков, парящих над ней. Тогда жалеешь, что только один ты и увидел эту маленькую лесную сказочку.

* * *

Травка, о которой пойдет речь, так неказиста и незаметна, что, конечно, никто, кроме специалистов-ботаников и знахарей (а в средние века ею очень интересовались еще и алхимики), не выделял бы ее из общей летней травы, если бы не маленькая особенность, не одно ее чудесное свойство.

Цветов у нее как бы и нет. Даже собравшись несколько штук в один клубочек, они не производят впечатление цветка. Клубочек получается величиной с ягоду лесной земляники, а цветом зеленовато-желтоватый. Этакая невзрачная шишечка. Что уж говорить про каждый отдельный цветок, зелененькую спичечную головку. А между тем — семейство розоцветных.

Смотришь и думаешь, неужели это в буквальном смысле бесцветное существо (зеленый цвет — не цвет для цветка) прямая и близкая родня царице цветов, и не просто родня, но из одного с ней семейства.

В одной любопытной книжке (на русском языке ее нет) я вычитал более поэтическое, чем научное, соображение, будто все цветы делятся на две основные сферы и строятся по двум основным схемам: пятилучевой и шестилучевой.

Во главе первой группы (независимо от принятой ботанической классификации) стоит роза (пять лепестков), во главе второй — лилия (шесть лепестков), и так они царствуют, две царицы цветочного царства. И как бы ни был мал иной цветок (незабудка, например, или ландыш), все равно либо та, либо другая схема, то или другое подданство.

Попробую процитировать в приблизительном переводе с немецкого:

«Кульминациями этих двух классов являются возглавляющие их Роза и Лилия. Они — королевы в своем царстве. Подобно Солнцу и Луне господствуют Роза и Лилия в царстве растений. Они несут в себе

сияние прадревних культур. Мудрецы Востока старались над их введением в культуру. Все лилии несут в своем цветке шестиконечную звезду Заратустры. Но все плоды и ягоды происходят от розы. Из них выделены и наши хлебные злаки...»

Трудно принимать всерьез подобные рассуждения, тяготеющие к космическому происхождению земных растений и даже всей жизни на Земле, но сама по себе идея двух великолепных цариц невольно привлекательна и красива.

Впрочем, говоря о нашей маленькой травке, мы имели в виду сухую научную классификацию, по которой без всяких дополнительных и едва ли не метафизических идей манжетка обыкновенная безоговорочно принадлежит к семейству розоцветных.

Представим себе, что соберется розоцветное семейство, ну, хоть на выставке, если бы люди захотели устроить такую выставку. Почетное тронное место заняла бы, конечно, роза — семь тысяч сортов и столько же цветовых оттенков. Бархатные, шелковые, просвеченные солнцем, с темной тенью, залегающей в складках лепестков, белоснежные, желтоватые, желтые, пурпурные, пунцовые, бордовые, алые, черные, лиловые... Не хочет быть роза только голубой. Ну, это уже ее дело.

В сторонке скромно расположится, придя на сбор розоцветных, шиповник, называемый, правда, в ботанике розой собачьей, но от которого и произошли, собственно говоря, все семь тысяч махровых сортов. Как будто съехались городские красавицы в модных нарядах, ослепляют и завораживают, но, храня достоинство, сидит в сторонке приодетый для праздника деревенский дед, от которого и пошло все это яркое, пышное потомство.

Не ударит в грязь лицом на празднике розоцветных и яблоня, когда белой невестой встанет она на

весенней тихой заре и розовато светится и манит пчел.

Не бедной родственницей на речном берегу, над темной лесной водой, заглядевшись в черное зеркало, обольется белым цветом черемуха.

Ярко-розовый персик (цветущее дерево), миндаль, вишня и слива — у каждого дерева своя статья, у каждого цветка своя пора, свое место под солнцем, своя тихая безмолвная гордость.

Спустимся ниже. Кустик лесной земляники, пришедший на смотр розоцветных, скромнее, конечно, цветущего миндаля, но он с достоинством предстал пред светлые очи самой царицы: хотите гоните, а я — ваш. А в общем-то, если посмотреть, чем мои пять белых и чистых лепестков отличаются от таких же белых лепестков цветущего вишенья? Их больше. Белыми облаками лежат они среди весенней земли, украшая и преображая вид деревень, небольших городов, всего пейзажа. Но, зайдя в сосновый лес, разве не обрадуетесь вы, увидев целые поляны в нашем белом цвету?

Все так. Но что это там у порога за невзрачная травка? Замухрышка и замарашка? Как смела она войти сюда, к розоцветным? Гоните нахалку вон!

— Я не виновата, — чуть слышно ответила бы невзрачная травка. — Я ваша родня. Я — розоцветная, поглядите в любую книжку.

— У тебя и цветка-то путного нет.

— Что поделаешь. Цветок есть, только он очень мал. Я уж стараюсь, собираю несколько цветков в один клубочек, но и клубочек мой не похож на настоящий цветок, а похож на зеленую, жесткую еще ягоду моей далекой сестрицы лесной земляники. Но я должна сказать, что люди меня знают, выделяют из остальных трав и по-своему любят.

— За что же? Не за родство ли с ними?

— Нет. Дело в том... Что у меня листья.

— Ну покажи, какие-такие у тебя особые листья?

— В ученых книгах их называют многолопастными, городчато-игольчатыми, но это ни о чем еще не говорит. Лучше вы поглядите сами.

Наклонившись или подняв до себя, мы увидели бы лист, который не только нам хорошо знаком, но который не однажды пробуждал в нас огонек восторга. Причем восторг этот относился не к листу, не к растению в целом, а к лугу, через который мы шли к косогору, на который мы смотрели, к утренней заре и, наконец, просто к жизни.

Резной по краям листочек собран в гармошку и свернут воронкой. Покрыт мелкими волосками.

— Ну и что особенного в твоем листе? — может быть, стали бы спрашивать знатные родственницы скромную манжетку. — Лист как лист. Все дело, что похожа на воронку.

— На горстку. В моем листе собирается влага. Средневековые алхимики считали, что это самая чистая влага, которая только может быть на земле. Они надеялись, что именно при помощи ее научатся превращать простые вещества в благородное золото. Иногда это моя собственная влага, иногда небесная роса, иногда капли дождя. Со всех ваших листьев вода, как вы знаете, скатывается, а в моем листе собирается. Поэтому, когда люди идут по росистой земле, они видят большие округлые капли светлой влаги, иногда настолько большие, что можно даже схлебнуть губами. Мои ворсинки не дают росе растекаться по всему листу и делать его просто мокрым. У меня так: весь лист сухой, а середка, на дне воронки — округлый упругий шарик, который от собственной тяжести становится плосковатым, сплюснутым, но все равно округлым и серебристым. Я ничего не говорю, красива капля небесной влаги и просто на стебле, на колосе, а тем более на розовом лепестке, но все же без сверканья

моих полновесных и драгоценных капель земля проиграла бы в своей красоте.

Если есть на свете роса, значит, кто-то должен собрать ее, чтобы всякий мог насладиться вкусом. Но и роса это еще не напиток по сравнению с той влагой, которую выделяю и дарю миру я сама. И птицы пьют с моих листьев, и дети, и некоторые взрослые, у которых не все еще выхолостилось и заглохло в душе, для которых не все еще свелось к граненому стакану, для которых лес не просто стройматериал и дрова, луг не просто центнеры сена, небо не просто место, где летают самолеты и спутники. А главное — которые не ленятся еще и не стыдятся опуститься на колени перед малой травинкой, держащей в себе каплю влаги, между прочим, и луг, и лес, и самое небо.

ИЗВЛЕЧЕНИЯ

М. Метерлинк «Разум цветов»

«Если встречаются незадачливые и неловкие растения и цветы, то отсюда не следует, что они совершенно лишены мудрости и изобретательности. Все ревностно стремятся совершить свое дело: у всех великолепная, самолюбивая мечта наполнить и завоевать поверхность земного шара, умножая на ней до бесконечности тот вид существования, который они собою представляют. Чтобы достигнуть этой цели, им приходится вследствие закона, прикрепляющего их к почве, преодолевать большие трудности, чем те, которые препятствуют размножению животных. Поэтому большинство из них прибегает к хитростям, к комбинациям, к приспособлениям, которые в смысле механики, баллистики, передвижения, наблюдений, хотя бы, например, над насекомыми, часто предшествовали изобретениям и познаниям людей».

«Если для нас бывает трудно открыть среди обременяющих нас законов тот, который с наибольшей тяжестью давит на наши плечи, то для растений в этом отношении сомнений не существует: это тот закон, который осуждает их на неподвижность со дня рождения их и до самой смерти. Им гораздо лучше, чем нам, рассеивающим свои силы, известно, против чего восставать в первую очередь... Мы увидим, что цветок дает человеку героический пример неповиновения, отваги, упорства и изобретательности. Если бы мы приложили половину той энергии, которую развил маленький цветочек нашего сада, для того, чтобы освободиться от различных давящих на нас неизбежностей... то должны верить, что наша судьба была бы весьма отличной от того, что она представляет из себя теперь».

«...воздушный винт клена, прицветники липы, воздухоплавательный снаряд чертополоха, одуванчика, козлобородника, разрывные коробочки молочаев, необычные приспособления ослиного огурца, волокнистые прицепки пушицы и тысячи других неожиданных и поразительных механизмов... нет ни одного семени, которое не изобрело бы какого-нибудь вполне своеобразного способа, чтобы избежать материнской тени...

Есть в этой доброй, толстой головке (речь идет о маке. — *В. С.*) осторожность и предусмотрительность, достойная самых больших похвал. Известно, что она заключает в себе тысячи маленьких черных семян, крайне мелких. Надо рассеять эти семена насколько возможно удобней и дальше. Если бы коробочка, содержащая их, лопнула, упала или открылась бы снизу, драгоценная черная пыль образовала бы бесполезную кучку у подножия стебля. Но она может выйти наружу только через отверстия, проколотые наверху оболочки. Головка, созрев, нагибается на своей

подножке, «кадит» при малейшем ветерке и буквально рассеивает, даже с движениями сеятеля, семена в пространстве».

«Когда наступает время цветения (речь идет об одном водяном растении. — В. С.), осевые мешочки наполняются воздухом: чем более этот воздух стремится выйти, тем плотнее запирает он клапан. Наконец, он облегчает удельный вес растения и выносит его на поверхность воды. Только тогда распускаются прелестные маленькие желтые цветки... Но вот оплодотворение закончено, развивается плод, и роли меняются; окружающая вода давит на клапаны мешочков, вдавливая их, проникает в полость, отягчает растение и заставляет его вновь спуститься на дно.

Не любопытно ли видеть собранными в этом маленьком, с незапамятных времен существующем аппарате некоторые из самых плодотворных и недавних человеческих открытий: механизма клапанов, давления жидкости и воздуха и закона Архимеда, изученного и использованного? Инженер, который первый привязал к потонувшему судну подъемный аппарат, не подозревал, что аналогичный прием практикуется уже в течение тысячелетий... пришедшие последними на эту землю, мы только находим то, что всегда существовало; мы, подобно удивленным детям, повторяем путь, который жизнь прошла уже до нас».

* * *

Как размножается папоротник? Дети до 16 лет не допускаются.

Да господа! С пятого класса каждый знает, что папоротник никогда не цветет, а размножается спорами. Поэтому и легенда родилась в народе, будто

он все-таки цветет, но только одну ночь в году, а именно в ночь на Ивана Купалу, то есть с 6 на 7 июля по новому стилю. И надо идти в полночь в глухой лес и смотреть на папоротник. И когда он зацветет огнем, то схватить, и это будет разрыв-трава. Но это все сказки, добавит школьник, потому что папоротник размножается спорами. На обратной стороне листа вырастают ржавые бугорки. Если положить папоротник на бумагу этой стороной, то через некоторое время на бумаге останется коричневая пыль. Даже и не разглядишь, что это пыль, просто лист пойдет бурыми пятнами, сделается как бы грязным. Это и есть споры. Пятьдесят миллионов спор от одного экземпляра папоротника. Теперь представьте себе большой хвойный лес с ореховым подлеском, заросший внизу широколиственными и как бы экзотическими папоротниками, и постарайтесь прикинуть то количество нулей, которое потребуется, чтобы выразить арифметическим числом общее количество спор, просыпанных ежегодно на землю. А ведь должно еще остаться место для семян кислицы, для клубней любки, для пуха одуванчиков, для крыльчаток вяза и клена, для косточек черемух, для шишек сосен и елей, для всех деревьев и трав, мхов и грибов (тоже споры), число видов которых тоже выражается при помощи многих нулей.

Что ж тут удивительного, скажет иной человек, что пятьдесят миллионов спор. Природа щедра. Икринки в утробе налиимей, щучьей и осетровой самки тоже исчисляются миллионами. Природа хочет гарантировать продление и существование вида. Тогда интересно задуматься, сколько от одной любой пары живых существ, извергающих в океан биосферы миллионы и миллиарды своих зародышей, должно в конце концов произойти и остаться на земле живых особей, производящих в свою очередь потомство. И сколько

должно остаться на земле в конце концов этого своеочередного потомства?

Здравый смысл подсказывает, что от слонов и осетров, от горьких лопухов и медведей, от воробьев и муравьев, от саранчи и мышей не должно в конечном счете происходить больше двух штук и ни на одну сотую долю больше.

Два от двух — это допустимый природный максимум. Если будет два с четвертью (мышонка, котенка, василька, ромашки, крапивы, лягушки, карася или комара), то этот вид, как нетрудно догадаться, через некоторое время завалит и задавит своей биологической массой все пространство, отведенное для жизни на земле.

Итак, сколько бы ни было миллионов икринок, спор, семян — все погибнут, чтобы оставить после себя два, максимум два экземпляра живых существ.

Но мы отвлеклись. Мы решили взглянуть, как размножается папоротник, и предупредили при этом, что дети до 16 лет не допускаются. Между тем как раз дети нам и говорят: подумаешь — папоротник! Всякому школьнику известно, что папоротник размножается спорами. Коричневые бугорки на обратной стороне листа... картина ясна.

Ясна-то ясна. Но, оказывается, из спор новые папоротники не вырастают. Сначала происходят события, которые куда как чудеснее, если бы папоротник вдруг и правда зацвел огнем.

Не буду внушать вам, что все это я открыл сам в результате многолетних наблюдений при помощи современных микроскопов. Тогда я был бы не «литератор скромный», а ботаник и доктор биологических наук, никак уж не меньше.

Нет, все проще. Все идет от неутраченной еще до конца способности удивляться. Это и чудно и чудесно. Общие процессы нашего времени касаются и меня. И

только некий здоровый консерватизм — врожденный или благоприобретенный, я не знаю — удерживает еще меня на плаву (или, скажем, на отвесе горы), когда все катится мимо: и камни, и комья, и дорогие товарищи мои, а я ухватился за крепкий обнаженный корень сосны, и повис, и остановился, и в глазах у меня вместо катастрофического мелькания неподвижный микропейзаж: ствол сосенки, каменная щель, из которой этот ствол растет, пятно зеленого мха на камне и белое меловое пятнышко от высохшей птичьей капли.

Кто-то из русских писателей в начале века сказал (приблизительно): «Произошло два события одинаковой важности: люди научились летать и люди разучились удивляться этому».

В Писательском (!) клубе в фойе смотрели в телевизоре, как впервые люди ходят по Луне. По другой программе должен был начаться хоккей. То и дело слышались голоса: хватит! Давай переключай. Подумаешь, ходят!..

Без удивления и я сажусь в самолет, беру в рот леденец, откидываю кресло. Иногда только спохватишься: мать честная! Иногда только на пролетающий самолет посмотришь глазами моих деревенских пращуров, ну хоть четырнадцатого, пятнадцатого века (наше село упоминается уже в двенадцатом): зашумело, загрохотало, все высыпали из домов, бегут к церкви, не поймут, в чем дело. Вдруг из-за леса вылетает чудовище: крылья — не крылья, морда — не морда, ноги — не ноги. Пресвятая мать-богородица! Конец света... Может быть, кто-нибудь тут же и умер бы от внезапной тоски.

Советский писатель свидетельствует, как ругалась старушка во Владимирском аэропорту. «Билет на ТУ-134 брали, а нам на ТУ-104 подсунули. Теперь лети на такой рухляди. Не полечу!» Вот тебе и все удивление.

Не знаю, отчего больше всего зависит горестная утрата способности удивляться — от роста культуры, от глубины знаний, от цивилизованности или от какого-то всеобщего отупения чувств, от обжорства этим самым техническим прогрессом.

Нет, я тоже перестал удивляться лунному грунту, зондированию Венеры, чудовищным скоростям на Земле. Но парашютику одуванчика я — представьте себе — все еще удивляюсь. Я и книгу-то эту пишу, может быть, только для того, чтобы вы оторвали на минуту свой утомленный взгляд (а он у вас утомленный) от беспрерывного, бесконечного мелькания (телевизор, кино, автомобили, поезда, самолеты, прохожие, огни реклам, лифты, руки продавщиц, двери троллейбусов, эскалаторы, телефонные диски, весь мелькающий мир, когда он мчится и завихряется вокруг вас, или весь мелькающий мир, когда вы мчитесь сквозь него со скоростью автомобиля, поезда, самолета) и остановили бы его, свой утомленный взгляд, на огромной неподвижной капле влаги, скопившейся в сборчатом и ворсистом листе манжетки. Или на парашютике одуванчика тоже неплохо остановить свой взгляд.

Вы подняли пушистый цветок над головой (кто же это сказал красиво и точно: «Одуванчик из солнца уже превратился в луну...») и дунули на него. Пушинки бойко и дружно взмывают вверх, потом, относимые ветерком, начинают наискось падать, опускаться на землю. И пока вы следите за ними, пока они летят сначала беленькие и четкие на фоне синего неба, а потом переплывут на фон зеленой травы, что-то успеет дрогнуть, оттаять в вас. Проклюнется из мертвого холода слабый первый, но симптоматический толчок душевного пульса, и вы поймете, что душа в вас жива, но только она заморожена, анестезирована...

Ну, так как же размножается папоротник, если из спор новые папоротники не вырастают? И при чем тут

дети до шестнадцати лет? И зачем же тогда существуют споры?

Споры созревают и высыпаются на влажную землю. В лесу она всегда влажная, а если нет, то пойдет дождь — и она станет влажной. Это важно, потому что для всякого прорастания нужны два условия: тепло и влага.

— Значит, споры все-таки прорастают?

— Да, они прорастут, но не для того, чтобы из них вырастали сразу новые, пусть и крохотные папоротнички. Из споры вырастает всего лишь зеленая пластиночка величиной с ноготь мизинца и даже еще поменьше. Она похожа на сердечко и называется у ботаников заростком. Если ходить в лес, в те места, где растут папоротники, и поискать там в середине лета (в общем-то, действительно в день Ивана Купалы), то можно эти зеленые бляшки найти и разглядеть. Но скорее всего, в первый раз вы увидите не сами заростки, а розеточки новых молодых папоротников, уже начавших развиваться, так сказать, на базе заростков.

Перевернув розеточку, увидишь и заросток, но уже сморщенный, потемневший, отработанный и ненужный. Наглядитесь на него хорошенько, запомните его, чтобы на будущий год легче было обнаружить где-нибудь у корней трухлявого пня, а то и на самом пне.

— Значит, из споры вырастает заросток, а из заростка папоротник? Что же тут особенного? Бесполое размножение...

— Далеко не так. От руки человека, от спины человека не отпочкуется новый человек. Он может вырасти только из половой женской клетки, и притом оплодотворенной. У папоротника происходит все то же самое.

— Но у него нет цветка, нет мужских тычинок и женского пестика, нет пчелы, которая перенесла бы пыльцу...

— Но у него есть заросток. Зеленая бляшка, величиной с ноготок мизинца и похожая на сердечко. Так вот на этой зеленой бляшке вырастают рядом два органа, один женский, другой мужской... Между прочим, над лесом пролетает самолет, чудо техники двадцатого века, не хочется ли вам задрать голову и поглядеть, как он там летит в облаках? Смотрите, как интересно: два крыла, окна, хвост... Не хочется? Интереснее поглядеть на бляшку? Тогда смотрите... Женский половой орган (выписываю) «...по своей форме несколько напоминает бутылочку, в расширенной, утолщенной части которой располагается женская половая клетка — яйцеклетка, шейка же занята канальцевыми клетками, которые при созревании... осклизняются».

Мужской половой орган «...округлой формы, полый внутри, он имеет оболочку, которая при созревании сперматозоидов раскрывается, позволяя им выйти наружу».

Дальнейшее, очевидно, не трудно угадать. Если есть женский орган, похожий на бутылочку со специально осклизлым горлышком и таящий внутри себя яйцеклетку, и есть мужской орган, округлый и наполненный сперматозоидами, то им осталось соединиться, и тогда...

Но как им соединиться, если они оба на одной плоской бляшке? Соединиться им никак не дано, чем не шекспировский трагизм? И близко, и созрели, и предназначены друг для друга, но разделены неподвижностью, практической недосыгаемостью, обречены на безмолвные танталовы муки.

Между тем в верхушках деревьев начинается робкое вначале шуршание дождя. Теплый июльский дождь с набежавшей тучки прошел охлаждающей полосой по зеленому лугу, по желтоватому полю и задел стекляннотуманной кисеей, волочащейся по

земле вслед за тучей, старый сосновый лес. На иголочках повисли светлые крупные капли. Перекапывая все ниже, сливаясь из трех в одну и отяжеляясь, они достигают нижних древесных ветвей, а потом и травы, а потом и земли. И вот одна прохладная капля упала случайно и накрыла собой всю зеленую пластиночку, похожую на сердечко.

Сразу же уточним, что это могла быть не капля дождя, а капля росы. Даже еще лучше. Еще спокойнее, без ненужного удара и расплеска, она охватила бы собой зеленую площадочку, накрыв ее подобно тому, как капля купола небес накрывает землю.

Я не случайно употребил это, впрочем-то банальное, сравнение, потому что для сперматозоидов, дождавшихся своего часа и извергнутых мужским половым органом в эту прохладную каплю воды, она, правда, по обширности, округлости и прозрачности должна напоминать свод небес, если бы, конечно, они могли воспринять ее во всем трепетном, дрожащем, просвеченном блеске. Ну или по крайней мере для них это Черное море, океан, в который выплывают они дружной, многочисленной стаей. Они, оказывается, снабжены жгутиками, похожими на штопор, и обладают способностью передвигаться в воде.

Им некогда любоваться тем океаном, в который они попали, некогда наслаждаться неожиданной свободой, у них есть главная и неотложная задача найти осклизлое горлышко женской бутылочки, незамедлительно проникнуть в нее, а там найти яйцеклетку, с которой соединиться и слиться. И тогда произойдет еще одно чудо — чудо оплодотворения («химизм которого нам неясен»), а потом уж и вырастет новый папоротник.

Сеанс окончен, зажигайте свет, пусть вбегают все дети. Мы видим теперь только старый пенек, на который падает косой луч летнего, последождового солнца,

капли недавнего дождя, который ушел дальше и не знает, наверно, что натворил невзначай, и широкие резные листья папоротников, растения, немного отличающегося от всех других трав, но все же вполне привычного нашему глазу и не удивляющего нас, когда мы его видим, отправляясь в лес по грибы или по орехи.

Но все же, пока дети еще не вбежали, хочется задать самому себе один вопрос, на который пока никто не ответил. Если бы я был ботаником и поскольку уже есть электрические приборы, улавливающие и записывающие импульсы растений, в частности боль, то я употребил бы все усилия, чтобы на этот вопрос получить ответ. Есть ли у растений оргазм и в какой момент он возникает? Когда цветок принимает пчелу? Когда пыльца расстается с тычинкой? Когда пыльца попадает на пестик? Когда она прорастает сквозь пестик? Когда она сливается с яйцеклеткой? Когда лопается мужской орган, выбрасывая сперматозоиды? Когда сперматозоиды находят горлышко женского органа? Когда проникают в него? Но что до этого листьям взрослого папоротника?

Между тем где-то должна существовать та манящая, призывная стадия, которая вложена природой, как надежный саморегулятор, во всякий организм, дабы он, несмотря ни на какие препятствия, стремился породить подобный себе организм. Может быть, это самое гениальное изобретение природы, после которого она может позволить себе иногда вздремнуть на диване или в глубоком кресле: все равно живые творенья теперь ничем уж не остановишь, оргазм вмонтирован в них и делает свое дело. Нет никаких сомнений, что он присутствует всюду, где есть то, что мы называем половым размножением, включая и папоротник, и подсолнух, и василек, поскольку, как мы знаем, в течение этого процесса у них, у рыбы, у

бегемота и гомо сапиенс нет никакой принципиальной разницы.

* * *

ИЗВЛЕЧЕНИЯ

М. Метерлинк

«Тычинки, спокойные и покорные, ждут в желтом венчике (речь идет о процессе оплодотворения у руты), размещенные кругом вокруг толстого и коренастого пестика. В брачный час, повинаясь приказу супруги, которая явно делает что-то вроде призыва, один из самцов приближается и касается стигмата, потом то же делает третий, пятый, седьмой, девятый, пока не кончится весь нечетный ряд. Затем — очередь четного ряда: второго, четвертого, шестого и т. д. Это прямо любовь по приказу. Это цветок, умеющий считать, казался мне столь необычным, что я сперва не мог поверить ботаникам и старался не раз проверить его чувство чисел. Я установил, что он ошибается очень редко».

«...Наш механический гений существует со вчерашнего дня, в то время как механика цветов функционирует уже тысячелетия. Когда цветок появился на нашей земле, вокруг него не существовало никакой модели, которой он мог бы подражать. В ту пору, когда еще мы знали только мотыгу, лук, в недавние времена, когда мы изобрели колесо, блок, таран, в то время, — так сказать, уже в последний год, — когда нашими шедеврами были катапульты, часы и ткацкое искусство, шалфей уже изобрел вращающиеся перекладки и противовес своих точных весов. Кто еще менее ста лет тому назад мог подозревать о свойствах Архимедова винта,

употребляемого кленом и липой со дня рождения деревьев? Когда удастся нам построить столь же легкий, точный, нежный и верный парашют, как у одуванчика? Когда откроем мы секрет вставлять в столь хрупкую ткань, как шелк лепестков, такую могущественную пружину, как та, которая бросает в пространство золотистую пыльцу дрока? А момордика, или «дамский пистолет», кто разъяснит нам тайну ее чудесной силы?.. Ее мясистый плод, похожий на маленький огурчик, обладает замечательной живучестью, необъяснимой энергией. Как бы слабо ни прикоснуться к нему в момент его зрелости, он внезапно, конвульсивным сокращением отрывается от своей плодоножки и выбрасывает в отверстие, образованное разрывом, слизистую струю, смешанную с зернами, со столь удивительной силой, что она отбрасывает семена на четыре, пять метров от родимого растения. Это действие столь же необычно, как если бы нам удалось, сохраняя те же пропорции, выбросить одним спазматическим движением все наши органы, внутренности и кровь на полкилометра от нашей кожи или нашего скелета...»

«Пусть говорят по поводу орхидеи, как по поводу пчелы, что это природа, а вовсе не растение или насекомое вычисляет, комбинирует, украшает, выдумывает и рассуждает, — какой интерес может иметь эта разница для нас? Важно уловить характер, качество, обычаи и, быть может, цель общего разума, из которого вытекают все разумные акты, совершающиеся на этой земле».

«Природа, когда хочет быть прекрасной, нравиться, давать радость и казаться счастливой, делает почти то же, что делали бы мы, если бы располагали ее сокровищами. Я знаю, что, говоря так, я говорю отчасти как тот же епископ, который поражался, что

провидение заставляло проходить большие реки около больших городов».

«Не будет, думается мне, слишком смелым утверждать, что нет существ более или менее разумных, но есть общий, рассеянный разум — нечто вроде всемирного тока, — проникающий различно, в зависимости от того, хорошие ли они или плохие проводники разума, встречающиеся ему организмы. Человек является до сих пор на земле тем видом жизни, который оказывает наименьшее сопротивление этому току, но ток этот не обладает другой природой, не исходит из другого источника, чем тот, что проходит в камне, в звезде, в цветке или в животном... Но это тайны, вопрошать которые — довольно праздно, потому что мы пока еще не располагаем органом, который мог бы воспринять ответ».

* * *

Если правда, что существует спор между прозой и поэзией, то вот точка, о которую ломаются копья. Причем вот странный случай, когда при всей очевидности прозаической правоты легкомысленная поэзия остается победительницей.

Давно втолковали людям, что это растение вредоносный и злой сорняк, а люди, когда спросишь о любимом цветке, продолжают твердить по-прежнему: василек. Просветительский агрономический разум вскипает в бессильной ярости перед чудовищной обывательской тупостью, а тупой обыватель (обывательница) очарованно смотрит на синий-синий цветок и срывает его, не только не испытывая никакой враждебности и ненависти, но радуясь и любя. И ничего уж тут с этим не поделаешь. Такова власть красоты.

Сорняк, да красив! Да полно, сорняк ли он? Такой ли уж он сорняк? И что такое сорняк?

«Хищник — это животное, поедающее другое животное, которое вы хотели бы съесть сами» (У. О. Нагель).

«Дело в том, что нет ни растения, ни животного, а есть один нераздельный и органический мир» (Тимирязев).

Может быть, мы не разгадаем многих тайн, пока будем считать, что рожь и василек — два отдельных растения, а не один биологический организм.

Эта мысль не моя, хотя я и не взял ее в кавычки. Я ее вычитал в ученой статье, но по непростительной оплошности почему-то не записал и теперь воспроизвел приблизительно, по памяти, но за смысл, разумеется, ручаюсь.

Есть еще о сорняках у замечательного белорусского писателя Янки Брыля.

«— Скажи ты, браток, что это делается? И семя дали сортовое, и химпрополка у нас, а осота — сплошь полно. Так и прет, так и прет!..

— А что ты хочешь? Тогда, при единоличестве, как ты на посев выезжал? Баба тебе и фартук помоем беленько, и перекрестишься ты, и, став на колени на пашне, наберешь того жита... ну просто праздник у тебя! А теперь? Только мать да перемать один перед другим... Вот сорняк и лезет!»

В сказанном — народный толк: мало любви к земле. (**Брыль Янка.** Горсть солнечных лучей. М., Сов. писатель, 1968, с. 62. Перевод с белорусского Дм. Ковалева).

Согласимся, что и действительно только от нерадивости земледельца сорняки на его ниве могут заполнить поле и победить злаки. Только по своей нерадивости земледелец создает (вернее, допускает)

равные условия для сорняков и для злаков (демократия, что ли?), но истинный хороший земледелец делать этого никогда бы не стал. Он знает, что при одинаковых условиях сорняки победят. Так что, когда увидите где-нибудь близ дороги поле, сплошь заросшее ромашкой, осотом или теми же васильками (а такие поля вы увидите всюду), то не сваливайте вину на ромашки и на васильки, а смело обвиняйте хозяев данного поля.

Но кроме того, если признать философию белорусского крестьянина, разговор которого подслушал чуткий писатель, а именно, что похабные, мерзкие, матерные слова оборачиваются на поле сорняками, то неужели можно представить себе, будто грубое, грязное слово может превратиться в изящный и чистый василек? Никоим образом, никогда!

В колючий жабрей — возможно, в осот полевой — допустим, но в чистый и ясный василек? Нет, в этот цветок явно вложена какая-то иная идея.

Если бы он был злостным сорняком, то крестьяне (русские, немецкие, всякие) давно бы, задолго до появления начитанных агрономов, возненавидели его и эту свою неприязнь сумели бы передать детям, воспитать в поколениях крестьянских детей, как это произошло, скажем, с мышью, со зверьком вообще-то милым и симпатичным, если бы не воспитание, перешедшее в плоть и в кровь.

Полевка-малютка, вьющая себе гнездо на стебле ржи, — казалось бы, трогательная картинка. Чем этот, с наперсток величиной, зверек не милее, не симпатичнее такой же крохотной лесной птички? Однако при слове «птичка» мы слышим в себе доброжелательную симпатию и умиление, а при слове «мышонок» — отвращение, брезгливость и немедленную готовность убить, пресечь.

Василек же мы любим и любимся им, едва ли не больше, чем самым колосом ржи. Поэзия победила

пользу? Но дело в том, что поэзия тут только тогда и возникает, когда васильки расцветают во ржи. Я видел васильки, растущие на городских клумбах и на газонах. В них не только не было никакого очарования, на них было почему-то неприятно смотреть. Они выглядели выцветшими, хилыми, производили даже неряшливое впечатление, тщетно было бы искать в них той полной, сочной и как бы прохладной синевы, какая свойственна им, когда они цветут на своем месте — во ржи.

Между прочим, именно василек может научить нас, что в произведении искусства все изобразительные средства должны гармонировать и небрежение хотя бы одним из них резко ослабляет художественную силу произведения.

Берем другой цветок, который по схеме, по чертежу почти не отличается от нашего василька. Он так и называется «василек», но с добавлением словечек «перистый» и «фригийский» и тяготеющий не к хлебным полям, а к лугам и кустарникам.

Да, чертеж тот же самый, не соблюдены только два условия: размер и цвет. Фригийский василек крупнее, и лепестки у него лилово-пурпурные и темно-красные. И вот уж средний читатель начнет сейчас думать, о каком таком цветке идет речь. Вероятно, вспомнит. Но разве нужны такие же усилия, чтобы вообразить василек обыкновенного василькового цвета?

Говорилось о неприязни, которая должна была бы, казалось, существовать у крестьян к васильку, как к траве бесполезной и сорной. Но мало того, что не было никогда такой неприязни, василек с древних времен участвовал во многих красивых обрядах и празднествах.

Во Владимирской губернии в некоторых местах был обычай, называемый «водить колос». То ли обычай, то ли хороводная игра, то ли народная песня, то ли поэма, но выраженная не в словах, а во внешнем действии.

Около троицына дня, когда начинает колоситься рожь, выходили на околицу девушки, парни, молодые женщины, подростки. Молодые люди становились все лицом друг к другу и брались за руки крест-накрест, как берутся, когда хотят образовать сиденье «стул», чтобы нести человека, например, подвихнувшего ногу.

По соединенным таким способом рукам пускали идти маленькую девочку в васильковом венке. Задние пары, по рукам которых девочка уже прошла, перебежали вперед. Так девочка, не касаясь земли, доходила до ближнего поля. Впрочем, оно колосилось всегда где-нибудь поблизости от крайних деревенских домов. Тогда девочка спрыгивала на землю, срывала несколько колосков, бежала с ними в село и бросала их возле церкви. Шествие к ржаному полю сопровождалось песней.

Зажиточный сноп, который ставили иногда в переднем углу, тоже украшали васильками или васильковым венком.

Если же вы будете настаивать, что все-таки василек не больше чем вредитель, то тем удивительнее — скажу я, — что он сумел, несмотря на свою вредоносность, внушить нам, людям, расположение к себе и даже любовь.

Относительную пользу тоже нельзя сбрасывать со счетов. Василек — прекрасное средство для укрепления глаз. У Монтеверде читаем, что васильковые «цветы дают пчелам обильный взятки меда даже в самую сухую погоду».

Вспоминаю, как Иван Александрович Крысов — пчеловод из-под Вятки — удружил мне ведро василькового меда, цвета зеленоватого янтаря. Бывает такой янтарь, похожий на виноград.

Грешно говорить про хлеб, но я бы то драгоценное ведро зеленоватой тягучей жидкости не променял ни тогда, ни теперь задним числом, а вероятно, даже и в

голодовку, на ведро уважаемой мной сыпучей ржи или муки из нее.

Но дело вовсе не в этой относительной пользе василька. Я подозревал, что они существуют, и действительно набрел в специальной литературе на сведения о васильке и его роли на хлебной ниве, подтверждающие безошибочность крестьянской интуиции, благодаря которой они и относились к васильку во все века с несомненной симпатией, вопреки поверхностной очевидности.

Наука — вещь многослойная. Копнут снаружи, ухватятся за первое звено цепочки закономерностей и думают, что ухватились за истину. Но цепочка повела в глубину, во тьму, и уже третье звено ее опровергнет скоропалительные заключения и все выворачивает наизнанку.

Но прежде чем говорить о полезности василька, придется сказать сначала несколько слов о почве.

Почва — это то, что все люди зовут обыкновенно землей, в самом прямом смысле слова. Но когда требуются более строгие формулировки, то приходится тем же людям искать уточняющие слова, вроде: «Поверхностный горизонт земной коры, измененный совокупной деятельностью агентов выветривания при одновременном накоплении органических веществ... Самостоятельное естественно-историческое тело — продукт окружающей природы, живущий и закономерно изменяющийся под влиянием внешних условий... среда, служащая для питания растений» (Брокгауз и Ефрон).

А также: «Поверхностный слой земной коры, несущий на себе растительный покров суши земного шара и обладающий плодородием. Образование почвы и развитие растительного покрова неразрывно связаны между собой» (БСЭ).

Специалисты — биологи — смотрят на почву еще и своим особенным взглядом. Они считают, что почва —

это организм, обладающий специфическими условиями жизнедеятельности и развивающийся по собственным законам.

Хорошая, здоровая почва содержит, оказывается, на одном гектаре до 800 кг земляных червей (до 15 миллионов штук), а также около 4000 кг бактерий актиномицетов и простейших, все эти тысячи килограммов бактерий (не будем переводить их на штуки) занимаются тем, что превращают минеральные соединения из нерастворимого состояния в растворимое, усваиваемое растениями.

Известно, что всю существующую почву несколько раз уже пропустили через себя дождевые черви. А если бы не пропустили, она не была бы такой, как сейчас, а возможно, и вообще не была бы почвой. Дождевые черви — главная фабрика гумуса в почве, без которого почва погибает и становится бесплодной землей. Подземные труженики — дождевые черви — дают почве удобрений не меньше, чем все пасущиеся на земле коровы. Но у них есть и еще одна задача: проникая глубоко в землю, они выносят оттуда в пахотный слой нужные минеральные вещества. Известны случаи, когда почва, в которой не было дождевых червей, оказалась бедной кальцием, в то время как под ней, на доступной червям глубине, лежал известняк.

Итак, почва — это биологический организм, от здоровья которого зависит его жизнедеятельность, а в первую очередь, произрастание всевозможных растений. Теперь возьмем несложный пример. Допустим, мы заинтересованы, чтобы в лесу водилось побольше рябчиков, жизнь которых связана с хвойными деревьями. Замечаем, что хвойные деревья хиреют, их становится меньше, а вместе с тем редеют и рябчики. У нас два пути. Один путь — подкармливать рябчиков искусственно, химическими питательными таблетками, скажем, рассыпая их по лесу с самолета. Второй путь —

ухаживать за хвойными деревьями, умножать их, улучшать их, всячески заботиться о них и тем самым способствовать многочисленности рябчиков.

Возьмем еще одно дополнительное условие: допустим, что от химических таблеток, рассыпаемых для рябчиков, хвойные деревья погибают и вымирают. Спрашивается — какой выбрать путь, если мы хотим, чтобы были рябчики. И не только для нас, но и для наших внуков? Всякий здравомыслящий человек скажет: надежным путем надо считать второй путь — путь ухода за хвойными деревьями.

Точно так же и в сельском хозяйстве надо работать совместно с природой, а не против нее. Переносить закономерности фабричного производства целиком на сельское хозяйство нельзя. Главной рабочей силой здесь являются солнце и микрофлора почвы. Поэтому главное состоит в том, чтобы создать наилучшие условия для их деятельности. Не подкормка растений, а питание почвы. Подкормка — это допинг, при котором, как известно, достигаются временные, даже неожиданные результаты, но весь организм в целом работает на истощение, на износ.

Между тем разумное, цивилизованное человечество идет по заведомо ложному пути. По принципиально ложному пути. Только и слышно на земном шаре: подкормка растений, минеральные удобрения, гранулированные удобрения, суперфосфаты, химическая прополка.

Нетрудно догадаться, что вся эта химия убивает в почве все живое, и бактерии, и червей, то есть, по существу говоря, убивает почву. Кроме того, она ухудшает коллоидные свойства почвы, ее структуру. Кроме того, она, вся эта химия, используется крайне неэффективно, незначительно, потому что тотчас уходит в нижние слои почвы и переходит в

нерастворимое состояние. Например, фосфор, вносимый в почву, используется на два процента.

Хороший гумус связывает большое количество воды и постепенно отдает эту воду растениям. В минерализованной же почве вода не задерживается. А не надо забывать, что на каждый килограмм зерна для его созревания требуется 500 литров воды.

Убитая почва начинает подвергаться эрозии. Говорят, что в США не меньше одной трети всей почвы затронуто этим губительным процессом. Говорят, что минеральные удобрения делают богатыми отцов и бедными детей. Говорят, что если европейские страны и Америка будут и дальше опираться в сельском хозяйстве на минеральные удобрения, то в конце концов они превратятся в новую пустыню Сахару.

Животные поедают растения. Продукты выделения животного мира должны возвращаться растениям через почву, однако переработанные ее очень сложной и многообразной жизнедеятельностью, простой метод — вали в землю как можно больше навоза — тоже не соответствует уже уровню нашей цивилизации. Навоз хорош для растений только в переработанном почвой виде. И вот тут-то человек может почве помочь, компостируя и ферментируя органические отходы нужным образом. Это — будущее сельского хозяйства, если мы хотим еще пожить на земном шаре. При уходе за почвой мы сталкиваемся с замечательным явлением, ради которого пришлось сделать столь далекое и скучное (но, надеюсь, не бесполезное) отступление. Замечено, что в содержимое компостов полезно добавлять настои некоторых трав: валерианы, одуванчика, крапивы, ромашки, тысячелистника. Замечено, что экстракты некоторых растений даже в очень больших разведениях оказывают влияние на жизнедеятельность бактерий, находящихся в почве. И наконец, замечено, что таким действием обладают не

только экстракты, но и выделения в почву из корней живых растений.

Опыт показал, что если к ста семенам пшеницы добавить двадцать семян сорняка-ромашки, то произойдет угнетение пшеницы. Если же добавить к ста семенам только одно семечко, то пшеница вырастет лучше, чем если бы она выросла совсем без этого сорняка. Такие же результаты получаются, если взять вместо пшеницы рожь, а вместо ромашки васильки!

А что значит на сто стеблей ржи один василек, на сто золотых колосьев одна синяя яркая головка? Я не подсчитывал специально, но неужели на одном квадратном метре уместается всего сто стеблей? Не двести, не триста ли? Тогда вполне допустимы на квадратном метре два-три василька. То есть именно та картинка, которая обычно радует глаз. Больше — впечатление засоренности, неряшливости поля. Меньше или когда совсем нет — чего-то как будто не хватает.

О симбиозе, о взаимопользовности сожительства разных видов растений и животных написано много книг. Сожительствуют грибы и деревья, грибки и водоросли, гидры и водоросли, мы помним классически школьные симбиозы рака-отшельника и актинии, крокодила и птички, пасущейся в его раскрытой пасти...

Но все же мы видим чаще всего лишь внешнее проявление сожительства (гриб под березой) и не видим наглядно той взаимной пользы, которую приносят друг другу живые организмы. Мы не знаем, насколько худосочнее было бы дерево, если бы вокруг него не росли грибы. А между тем в природе существует столь наглядный пример симбиоза, что результаты его можно рисовать, фотографировать, измерять на сантиметры и взвешивать на весах.

Идя по отлогим косогорам, по склонам оврагов, по суховатым лугам, внимательный человек заметит среди обыкновенной травы более темные и жирные зеленые

полосы. По «ассортименту» трава на этих полосах растет та же самая, что и вокруг, но она значительно гуще, выше, сочнее и зеленее. Полосы бывают шириной до полуметра, а в длину они самые разные. Иногда лежит полоса подковой в четыре шага, иногда правильным кругом по десяти шагов, а иногда тянется бесконечной змеей через весь косогор. Я вижу их с детства (их нельзя не заметить), но долго относился к ним безразлично, не задумываясь об их происхождении и природе. В лучшем случае, я думал, что они проявляются на тех местах, где были коровьи лепешки и дорожки. И только совсем недавно, когда я увлекся собиранием луговых опят, открылся для меня секрет этих пятен.

Луговые опята — небольшие, тонконогие, с кожистыми шляпками грибки, обладающие тонким ароматом и вкусом. За аромат их еще называют гвоздичными грибами. Может быть, и правильнее их так называть, потому что меньше всего они — опенки, опята: никаких пней там, где они растут, нет и в помине. Если же все грибы «приписаны» каждый к своему дереву, кто к березе, кто к сосне, кто к осине, то луговой опенок — гриб исключительно травяной.

Эти мелкие грибки вырастают дружными стаями (единственно, что их роднит с опенками), но не кучами, а лентами, иногда закручивающимися и образующими подковы и круги. Их-то и зовут в народе ведьмиными кругами. Отмечу, уж если зашел разговор, еще одну их особенность. Вылезши из земли, они очень нежны, даже и ножки, но потом, если стоит сухая погода, они быстро становятся кожистыми, жесткими, а через день-два ссыхаются и сморщиваются. Однажды от отчаяния я насобирал таких сохлых грибов, но дома их пришлось выбросить недалеко от калитки, под вишневое дерево. Ночью был дождь. А утром я удивился: откуда взялись под вишеньем свежие, чистые, нежные луговые опенки.

Оказывается, на дожде они набухают, распрямляются и становятся опять нормальными грибами.

С некоторых пор я полюбил собирать их. Приходится вооружаться ножницами и стричь их пополам с травой, как стригут овец. Конечно, хорошо в грибном прохладном лесу, но есть своя прелесть и в просторных, размашистых, открытых взгляду, сердцу (и легкому ветерку) косогорах и луговинах.

Так-то вот, собирая луговые опята, я и заметил, что их дружные стаи вытягиваются и закручиваются только по тем самым темным травяным полосам, о которых шла речь. Эти травяные полосы возникают на месте грибницы лугового опенка и точно обозначают ее, залегающую под землей.

Симбиоз. Взаимная польза. Без травы эти грибы не выросли бы вообще (они не растут на голых бестравных местах), без грибов (без грибницы) трава заметно слабее, тощее, реже, ниже, бледнее цветом. Можно собрать с одинаковой площади ту и эту траву и получить результаты симбиоза, выраженные в граммах.

Симбиоз василька и ржи не так заметен. Но разве ничего не значит, что трудно подобрать другой земной цветок, который так же удачно сочетался бы с золотом ржи, как это делает василек?

Земледельцу же остается заботиться только о соотношении ржи и василька на поле, а это как будто в человеческих силах.

* * *

Тишина — вот самый большой дефицит на земном шаре. Постоянное рычание и тарахтенье разнообразных моторов, движков, компрессоров, автомобилей, тракторов, мотоциклов (один мотоциклист, проезжая по ночному городу, заставляет вздрогнуть и проснуться

примерно 20 000 человек), поездов, самолетов, лифтов, отбойных молотков и других механизмов, от шума которых современный человек не спасается даже в своем жилище, даже ночью оглушают планету и делают ее, строго говоря, мало пригодной для жизни. Только величайшая невзыскательность и приспособляемость человека к обстановке, к среде, к условиям существования позволяют еще ему кое-как отправлять его не только биологические, но и общественные функции. Но это стоит нервов, нервов и нервов. И сердца. И психики. Поэтому наряду с тишиной становится дефицитной на земном шаре и валерьянка.

Прибавьте к этому современные скорости, современную вибрацию, современное мелькание мира перед глазами, прибавьте смертельно ядовитые нервные газы, которые ежедневно в больших количествах вдыхает каждый городской житель (а теперь большинство людей живет в городах), прибавьте к этому вечную спешку, вечное ощущение «некогда», «не успеваю», то есть ощущение острого цейтнота, из которого шахматист выходит через час, хотя и проиграв партию, а современный человек выходит только вместе со смертью (преждевременной из-за того же цейтнота и вышеперечисленных обстоятельств), прибавьте к этому ежедневное добровольное облучение вредными лучами перед экраном телевизора, прибавьте к этому вечную нехватку денег, прибавьте к этому переизбыток всевозможной информации, злоупотребление антибиотиками, снотворными средствами, никотином, кофе и алкоголем. Прибавьте к этому всеобщее и постоянное стояние в очередях, прибавьте к этому скученность, обусловленную городами, и вы поймете, почему в аптеке трудно купить натуральный валерьяновый корень.

В каплях и таблетках валериана, слава богу, бывает, да и как бы можно было жить без нее, учитывая все те

условия, которые я перечислил. И хорошо также, что она бывает в настойках, а не в экстрактах, ибо чистое лекарственное вещество, извлеченное из растения, оказывается, еще — не все, и два течения в фармацевтике, парацельсовое и галеновое, до сих пор не решили спора. Парацельс считал, что достаточно извлечь из растения основной препарат и давать его в виде порошка или таблеток. Сторонники Галена считают, что нужно применять настойки и вытяжки, в которых присутствует все, что есть в растении.

«Ценность этих препаратов заключается в том, что наряду с известными или еще неизвестными нам действующими веществами из лекарственного растения извлекаются другие полезные вещества, роль которых в организме нам еще не совсем ясна: присутствие их благотворно влияет на физиологическую активность основных действующих веществ» (**Сало М. В.** Медицина и растение. М., Наука, 1968).

То есть, видимо, полезнее выпить стакан валерианового чая, нежели съесть таблетку, содержащую экстрагированное лекарственное вещество. Но где же взять валерьяновый корень?

В ВИЛАРе (Всесоюзный институт лекарственных растений) научный работник сказал мне: «С валерианой вопрос решен. Мы ее будем выращивать, как капусту».

Это и хорошо. Но я тотчас вспомнил изыскания Борахвостова, который раскопал где-то, что корень женьшеня, выросший в тайге, стоит пять тысяч рублей килограмм, а корень, выросший на плантации, — всего лишь восемь рублей! Чем-нибудь обусловлена такая разница?!

Вероятно, семечко в естественных условиях прорастает только там, где находит необходимые условия для будущего растения, где есть в почве тот самый сложный комплекс веществ, который нужен, чтобы женьшень стал женьшенем, а валериана стала

валерианой. Японские ученые предполагают, например, что настоящий таежный женьшень выбирает места с повышенной радиоактивностью почвы.

Недаром всякое растение на земле знает свое место. Одно любит глину, другое растет на жирном черноземе, малина обожает древесную труху, ландыш расцветает в еловой тени, кипрей на лесных, открытых солнцу порубках.

Соседство других растений имеет не меньшее значение. Уже был разговор, что ромашка и василек полезны для пшеницы и ржи (в малых дозах), потому что их корни выделяют в почву нечто, что усваивают корни рядом растущих злаков.

Около тридцати лет назад советский ученый Борис Петрович Токин сделал открытие, которое по праву должно было бы называться открытием века. Он открыл фитонциды.

Каждое растение выделяет некие летучие вещества, которые либо благотворно, либо губительно влияют на окружающую растение среду, в первую очередь на микроорганизмы, витающие в воздухе, но и на соседние растения тоже. В то время, как нам для того, чтобы стерилизовать рану, нужно прибегать к йоду, к марганцовке, к борной кислоте или по крайней мере к кипяченой воде, раненый древесный лист сам окружает себя стерильной зоной, излучая фитонциды и убивая в непосредственной близости всех бактерий, какие только окажутся. Вареное яйцо, облучаемое фитонцидами хрена, не протухает годами. Гектар можжевельного леса выделяет за сутки 30 килограммов летучих фитонцидов. Не удивительно поэтому, что одни травы и цветы могут расти в можжевельном лесу, а другие не могут.

Многие любители цветов, вероятно, замечали, что некоторые цветы нельзя соединять в одной вазе. Какой-нибудь один цветок быстро увядает, как бы

задушенный, умерщвленный своим невольным соседом. Чтобы убедиться в этом, достаточно поставить в вазу пышно цветущие свежие розы и тюльпаны. Увидите, как тюльпан расправится с розой (не напомнить ли вам, что тюльпан является подданным шестилепестковой лилии?).

Настоящие огородники знают, что иные огородные культуры хорошо соседствуют на грядках, а иные плохо и что есть так называемые бордюрные растения, которые хорошо разводить вокруг грядок и вдоль огородной тропинки. Глухая крапива, эспарцет, тысячелистник, укроп... Но обо всем этом можно прочитать в специальных книгах. Важно то, что соседство растений не безразлично каждому из соседей.

Можно выращивать целебные травы и на плантациях. Но создайте валериане на своей плантации ту же в тончайших тонкостях почву, что и на сыроватой низменной лесной поляне, или в овраге, или в кустах на речном берегу, окружите ее теми же травами и цветами, раскиньте над ней те же ольховые и черемуховые ветви, создайте ей такое же соотношение солнца и тени, такую же влажность в почве и воздухе, поселите неподалеку крапиву и зонтичные, напускайте на нее своевременно прохладный белый туман, что обычно поднимается от реки или стелется по дну оврага, заставьте в росистые ночи петь над ней соловья, соблюдайте еще десятки неведомых нам условий, тогда, может быть, и на плантации вырастет та же самая валериана, что застенчиво розовеет на той волглой лесной поляне, где ей понравилось вырасти и расцвести.

Желая добыть корень подлинной дикой валерианы, я пошел в лес и там в буераке нашел ее, растущую в тени. Вот растение, которому в наш суматошный век, в век истрепанных нервов, семейных скандалов,

внезапных сердцебиений, изнурительных бессонниц и сдвинутой с места психики, надо бы поставить большой красивый памятник.

В то время, когда я старательно вынимал валерьяновый корень из земли и бережно отряхивал его мочку, за спиной послышался легкий кашель. Так покашливают, когда хотят обратить на себя внимание. Я обернулся и увидел незнакомого старичка с грибной корзиной в руке. Старичок глядел на корень в моих руках, на изломанное и брошенное теперь за ненадобностью тело самого растения и качал головой.

— Что-нибудь не так? — спросил я, имея в виду свои действия.

— Не вовремя берешь ты эти корни. Теперь еще утро. А их надо копать, дождавшись сумерек и чтобы на небе был новорожденный месяц.

Старик помолчал и добавил:

— Ущербный месяц тоже ничего, хорошо. А вот полная луна не годится. Нельзя. Сила не та.

— У луны?

— У корня.

— А филин должен ухать или можно без филина?

Старичок обиделся и даже перешел на «вы».

— Как хотите, ваша полная воля. А растение, оно ничего вам не скажет, хоть утром его бери, хоть вечером, хоть в дождь, хоть в солнце.

Я понял, что старичок поделился со мной из самых хороших чувств и очень дорогим своим секретом, поделился потому, что впервые, может быть, встретил в этих местах второго после себя человека, заинтересовавшегося травой не только как кормовой базой с точки зрения центнера на гектар, но учитывая ее особые индивидуальные свойства.

Почему получается, думал я потом, что, именно соприкасаясь с травами, с цветами, с корнями, человек более всего склонен ударяться в разные суеверия.

Новорожденный месяц ему понадобился! Сумерки! Хорошо я ему насчет филина-то вернул. Разве далеко от этих сумерек и новорожденного (ущербного) месяца до поверья, например, что женьшень надо выкапывать только костяной но ни в коем случае не железной лопаткой и нельзя быть при этом вооруженным?

Тогда я не задумывался еще, что человек склонен считать и считает на самом деле суевериями и мистикой все, что не может пока уложиться в привычные рамки своих микроскопических знаний и представлений. И что «много есть вещей на свете, друг Гораций, которые даже и не снились нашим мудрецам».

Попробуйте проделать следующий несложный опыт. Для того чтобы исключить случайность, проделайте его многократно и выявите тенденцию. Например, восемьдесят случаев из ста можно считать законом.

Возьмите пять порций дистиллированной воды и кипятите ее отдельными порциями по двадцать минут в одной и той же посуде на разном источнике тепла: электричество, газ, уголь, дрова, солома. Потом в каждой из этих вод (остывших, конечно) в строго одинаковых условиях замочите какие-нибудь семена, скажем пшеницу. Потом эти семена в равных условиях пусть прорастут у вас. Измерив длину листочков, вы убедитесь, что длина у них разная. Самые короткие будут у тех зерен, которые замачивались в воде, нагретой электричеством. Потом пойдут последовательно: газ, уголь, дрова, солома. Останется сделать вывод, что от соломы исходит самая благоприятная для растений теплота.

Если вы затем подвергнете испытанию не топливо, а посуду, то получите следующую цепочку (от худшего к лучшему): алюминий, железо, олово, медь, стекло, эмаль, фарфор, глиняный горшок, золото.

После всего этого утверждение деда насчет ущербной луны покажется грубым реализмом.

В конце вы увидите, проявив интерес, что древние вавилоняне собирали белену и дурман только ночью, что еще Плиний в своей 18-й книге «О естественной истории» (Натюргешихте) много говорит о влиянии фаз луны на растения, животных и человека.

В конце концов вы набредете на сведения, что при полнолунии в растения всасывается больше воды, чем в другое время. Стволы деревьев в полнолуние более влажны, водянисты, бревна и доски из них получаются худшего качества, быстрее гниют и легче поражаются всякими грибками и древоточицами. В старину лесорубы придерживались обычая рубить лес лишь в новолуние. В тропиках это соблюдают и до сих пор. Например, в Бразилии до сих пор существует обычай ставить на бревнах клеймо с указанием фазы луны, при которой дерево срублено. Плиний тоже упоминает, что дубы валят при убывающей луне.

Да и что удивительного! Если луна заставляет совершать приливы и отливы такой гигантский организм, каковым является наш земной океан, если приливы эти под влиянием луны происходят даже и в твердом веществе земли (в Москве, например, почва под влиянием луны опускается и поднимается почти на полметра), то тем легче повлиять ей, луне, на движение соков в дереве или в малой травке.

Теперь представьте, что вы всего этого не знаете, а дед походя говорит: «Не руби дерево в полнолуние, его шашель съест». Разве вы не посмеетесь над его темнотой? Разве вы не увидите в нем суеверного человека, мистика?

Но если не мистика, что тепло от соломы лучше тепла от электричества, что дуб надо валить не в полнолуние, а на ущербе луны, то, может быть, не мистика и то, что валерьяновый корень надо выкапывать в сумерки, при новорожденном месяце, и даже то, что женьшень надо выкапывать костяной, а не

железной лопаточкой. Просто в луне мы уже разобрались, и нам теперь все тут ясно, а в костяной лопаточке пока еще не разобрались. Вдруг и ей, костяной лопаточке, есть какое-нибудь свое неожиданное объяснение, которое будет казаться нам потом до смешного простым.

* * *

ИЗВЛЕЧЕНИЯ

К. Тимирязев. «Жизнь растений»

«Наиболее выдающаяся черта в жизни растения заключена в том, что оно растет».

«Убедившись, что в прорастающем семени совершается в существенных чертах такой же процесс дыхания, как и в животном организме, мы вправе сделать еще шаг далее и спросить...»

«Таково известие мангровое дерево, обитающее по побережьям тропических морей, обыкновенно в полосе, заливаемой приливом. Семена этого живородящего растения прорастают в плоде и, еще будучи на материнском растении, образуют длинный, тяжелый и приостренный корень. Достигнув известной стадии развития, они отрываются и, вонзаясь этим корнем в вязкий ил, прямо, без всякого перерыва, продолжают свое существование».

«Помножим это число на среднюю длину волосков и получим действительно колоссальную цифру 20 килограммов, или около 20 верст. Таков путь, который пробегает в объеме почвы величиной с обыкновенный цветочный горшок корень пшеницы со всеми его волосками».

«Наконец, существуют и такие растения, как, например, лишайники, которые в виде пенек или

накипи поселяются на голой поверхности камней, говорят, даже на поверхности полированного стекла, и разрушают эти вещества, добывая из них необходимую минеральную пищу».

«Это дало Брауну повод к остроумной шутке, что растение обладает, по-видимому, более обширными сведениями по физике, чем мы готовы допустить».

«Но как объясним мы причину этого поднятия воды иногда на громадную высоту 300 футов?»

«Десятина овса испаряет за все лето от 100 000 до 200 000 пудов воды, десятина смешанной луговой травы — около 500 000 пудов».

«Первый вопрос, который должен бы естественно представиться при наблюдении этого явления, но который, вероятно, мало кому приходит в голову, — до такой степени мы привыкли к этому явлению, — это вопрос: почему корень и стебель растут в противоположные стороны, один — в землю, другой — в воздух, один — вниз, другой — вверх?»

«В сердцевине так называемых саговых пальм отлагаются запасы крахмала, которые можно считать пудами; в клубнях картофеля отлагается также крахмал; в корнях свекловицы отлагается в изобилии сахар; в кочанах капусты или в корнях репы — разнообразнейшие питательные вещества; наконец, в мясистых листьях описанной выше агавы отлагаются в течение нескольких лет запасы сахара. Одним словом, нет почти растительного органа, который не смог бы сделаться вместилищем, складом питательных веществ».

* * *

Она родня ландышу и потому ядовита. Но мало ли что? Ядовит и ландыш.

Помню, впрочем, как осыпались, отцветая, отжив (отболев?), растопыренные лепестки и оставалась на стебле шишчатая головка, которая темнела потом, и мы вытряхивали из нее на ладонь мелкие черненькие семена, гораздо мельче маковых зерен, и слизывали эти семена языком. Называлась она у нас почему-то лазоревый цвет. Настоящее ее имя — купальница — я узнал из книг. Никто в наших местах ее настоящего имени не знает.

Цветы ярко-золотые, недаром их в некоторых местах называют фонариками. Когда выйдешь на поляну с цветущими купальницами и посмотришь на них еще издали, то прямых и высоких стеблей не видно, они сливаются с общей зеленью. Кажется тогда, что купальницы висят в воздухе. И кажется еще, что если бы сделалось темно, то эти цветы все равно было бы видно — настолько яркие.

В лесу, где поляна забежала под тенистый полог дремучей ивы и где образовалось под пологом ветвей нечто похожее на грот, с десятков купальниц-великанов освещали это темноватое даже в летний полдень пространство и вправду как настоящие фонарики. Во всяком случае, когда по моему недосмотру дочка сорвала их все, там стало темно и мрачно.

Нераскрывшиеся бутоны — капустообразные кочанчики, величиной с лесной орех — зеленого цвета. Ничто не предвещает как будто солнечной яркости. Но и в распутившихся еще лепестках, когда лесной орех превратится размером своим в средней величины мандарин, и в таких распутившихся лепестках сквозит первоначальная зелень, и эта зеленоватая примесь создает ощущение прохлады и свежести.

Со мной в деревенском доме жили тогда две мои сестры. У одной из них подошел день рождения. По этому случаю я нарвал в лесу солнечный сноп

купальниц. Чтобы было всем сестрам по серьгам, для другой сестры я сорвал три веточки ландыша.

Роскошны и праздничны были мои купальницы. Но когда я распределял подарки, то невольно поймал себя на следующем отчетливом ощущении. Мне показалось вдруг, что одной сестре я вручаю добротную, тяжелую, медную сбрую, а другой — бриллиантовую брошь или ниточку жемчуга. Ну, сбрую не сбрую — чеканные медные украшения, столь любимые современной молодежью.

Купальница на меня не обидится. Она знает, что я ее люблю. Но свое промелькнувшее ощущение я, как писатель, обязан выразить по возможности точно.

* * *

Сначала я познакомился с листьями ландыша. Мой дед постоянно читал толстые книги, водя по строчкам лупой величиной с чайное блюдце. Закладками ему служили засушенные в тех книгах ландышевые листья. Высыхая, они приобретают золотистый оттенок и становятся как бы шелковыми. Я и сейчас думаю, что не может быть лучшей книжной закладки, чем засушенный ландышевый лист.

Взяв меня в лес, сестра прилегла отдохнуть на поляне, что-то там расстелив, а меня послала в ближайшие деревья, чтобы я искал ландышей. Сколько мне было лет, я не знаю, но очевидно, что мало, если живого ландыша я до сих пор, оказывается, не видел. Я спросил у сестры, какие бывают ландыши, и она ответила коротко и мудро:

— Самые лучшие. Когда увидишь, не ошибешься. Белые колокольчики.

Вооруженный таким напутствием, я шагнул в древесную тень на поиски «самого лучшего». И хотя

мне не полагалось далеко отходить (сестра начинала аукать и звать обратно), все же и на ближайших метрах своих жизнь тотчас поставила меня перед сложным выбором, потому что под сыроватым пологом леса то и дело стали попадаться разнообразные белые колокольчики и все они были (а я их благодаря младенческому росточку видел очень близко и как бы укрупненно) один лучше другого.

Теперь, зная ту лесную поляну и приходя на нее в такой же весенний день, я могу с точностью разобраться во всех соблазнявших меня тогда белых лесных колокольчиках. Вот они все тут как тут.

Почему бы не потянуться мне тогда к нежному колокольчику кислицы, лиловатому от тончайших сиреневых прожилок. Пожалуй, даже скорее розовому, несмотря на то что прожилки сиреневого цвета. Они настолько тонки, что у них не хватает густоты и силы заявить о своем настоящем цвете, и они создают цветочку кислицы лишь розовый колорит. Достойна удивления чистота и тонкость ювелирной работы, но все же внутреннее чувство подсказывает, что нужно пройти мимо и наклониться над другим белым цветком.

Я разглядываю беленькие же, очень похожие формой на ландышевые колокольчики цветы брусники. Глянцевые листочки, медовый аромат, все, как говорится, при них, но чего-то, однако, не хватает, чтобы срывали и ставили в вазочки и прославляли в стихах.

Или что сказать о грушанке, которую можно было бы считать ложным ландышем, как бывают ложные грибы: ложный опенок, ложная лисичка, ложный шампиньон? Прямостоящая ветка грушанки усажена белыми колокольчиками. И растет грушанка в таких же лесных местах, где ландыш. Но почему-то у нее вместо смело очерченных эллипсоидных листьев невразумительные округлые листья. У ветки нет того

классического изгиба, а торчит она прямо. И колокольчиками она усеяна со всех сторон, а не с одной только стороны, по внутренней линии изгиба. И цветы грушанки развернуты и слишком вылезают из них тычинки, придавая всему цветку оттенок даже неряшливости. И вот в результате того, что в одном месте «слишком», а в другом «чуть-чуть не хватает», весь цветок на конкурсе красоты никогда не достиг бы пьедестала почета.

Кому совсем «чуть-чуть не хватает» до ландыша, так это его ближайшей родственнице купене. Даже и листья похожи. Но зачем вместо двух, выразительно расходящихся от земли зеленых лопастей, натыкано на длинную ветку в несколько этажей пять-семь пар тех же самых листьев? Зачем колокольчики так удлинены, нарочито вытянуты, превращены из округлых в некие белые трубочки, собраны в связочки по несколько штук, как ключи на конце, и так висят?

Да, если в поисках единственно гениального решения художник (конструктор) комкал и бросал эскизы-черновики, которыми был неудовлетворен, то купена — последний черновик, перебелив который наконец-то можно было откинуться с облегчением и счастливо закурить, разминая сигарету пальцами, все еще дрожащими от последнего творческого усилия. Черновики кончились — создан ландыш.

— Какой он?

— Самый лучший. Когда увидишь, не ошибешься.

У кого-то из прозаиков записано, как он, никогда не слышавший соловья, решил узнать его сам, по голосу, и как сначала принимал за соловьиные то одну, то другую птичью песенку. Но вдруг все пропало, исчезло, замерло. Огромные золотые обручи покатались по благоговейно онемевшей земле. Запел соловей.

Такое же чувство очевидной исключительности и непохожести ни на что другое испытал и я, когда, не

соблазнившись другими цветами, остановился перед волшебной веточкой ландыша, расцветшего в зеленоватой еловой тени.

Выдержав первый экзамен на чувство прекрасного (при подсказке такого цветка, как ландыш, не так уж трудно было выдержать), я вынес из леса, на залитую солнцем опушку, пестреющую лиловыми, желтыми, синими, красными цветами, веточку как бы даже не солнечного, а лунного цветка.

Он был как русалка среди играющих румяных деревенских красавиц, как призрак среди пирующих пьяных рыцарей, как бледная невеста в фате среди пышащих здоровьем и весельем подруг. И если было сказано, что роза и лилия царствуют в цветочном царстве, как дневное и ночное светила на земле, то ландыш — самый преданный, самый верный и приближенный рыцарь лилии.

А между тем — вы не поверите! — это вовсе подземное растение, и цветы ему, можно сказать, не нужны. Растение живет и размножается под землей (вегетативно), так что, если вы увидите стайку ландышей в лесу, нужно иметь в виду, что вы видите одно-единственное растение, как если бы яблоню с многими цветами и листьями. Обратимся к более точному языку ботаники.

«Каждый знает, как много встречается в лесу ландышевых листьев, или, точнее, не цветущих стеблей, и как сравнительно редко встречаются стебли с изящными кистями цветков. Если подсчитать, какой процент стеблей ландыша цветет по отношению ко всем встречающимся на любом участке леса, то даже в самых урожайных на ландыши местах мы получаем совершенно ничтожные цифры. Окажется, что в лучшем случае один цветущий ландыш попадется на сотню не цветущих, а то и еще реже. Если же мы придем в лес осенью и посмотрим, сколько найдется в нем

плодоносящих стеблей, несущих крупные оранжевые ягоды, то окажется, что их в лесу найти гораздо труднее, чем цветущие растения, и не потому что они мало заметны, значительная часть цветов опадает после цветения, не завязывая плодов. Вместо ягод в таких случаях мы находим на стебле лишь засохшие цветоножки.

На что указывает этот факт? Очевидно, семенной способ размножения мало надежен для ландыша и у него должен быть какой-то другой способ размножения, обеспечивающий ему возможность такого широкого распространения в лесу.

Раскопки вокруг стеблей ландыша легко убеждают в справедливости такого предположения. В поверхностном слое почвы на глубине 6–8 см расходятся во все стороны тонкие белые шнуры, местами дающие густые борода белых корешков. Это — корневища ландыша, представляющие собой подземные стебли. Образуя под землей мощную сетку, они соединяют друг с другом довольно далеко отстоящие стебли, в результате чего большое количество ландышей оказывается в действительности одним, сильно разросшимся экземпляром... несомненно, что такой способ размножения является более надежным, чем семенное воспроизведение, особенно в условиях леса, где цветенье сильно подавлено и где молодым всходам приходится выдерживать суровое соревнование в борьбе за жизнь... Мы видим, таким образом, что ландыш проходит интересную подземную жизнь. Под землей целиком проходит первый год его жизни, здесь же постоянно находятся его подземные стебли, живущие много лет подряд, в то время как надземные побеги существуют лишь в течение нескольких летних месяцев» (**Кожевников А. В.** Весна и осень в жизни растений. 1950, с. 126–129).

— Значит, что же получается! — должен воскликнуть на этом месте всякий поэт, романтик, жрец красоты. — Получается, что цветы для ландыша бесполезны, что его цветенье лишено забот о потомстве, то есть, по существу, всяких забот, потому что других забот у растения и нет, получается, что цветы для ландыша — чистое искусство! Не потому ли они так прекрасны?

Конечно, забота о семье, о тепле, о крове, об одежде, забота, короче говоря, о хлебе насущном во все времена была могучим двигателем всякого труда, в том числе и труда художника. Заботясь и зарабатывая, он писал быстрее и больше, из-под его пера или кисти появлялись рассказ за рассказом, роман за романом, полотно за полотном... Но все же самые совершенные, смелые и вдохновенные образцы художества возникали тогда, когда дух преобладал над немедленной пользой, когда цель была, но отстояла немного подальше, нежели брезжила вдалеке, как зовущий свет, как ощущение правильности пути и как стремление дойти до заветной цели.

Скажем, что и у ландыша не вовсе бесцельны цветы, хотя ничего не случится, если в этом году они не дадут семян. Над ним, говоря современным жаргоном, не каплет. Но время от времени копающееся под землей растение должно освежиться, обновиться, пройдя через грозную, ослепительную, но его радостную вспышку, по-нашему — любви, а по-научному — полового процесса.

В свое время и в своем месте было провозглашено:

«Пусть цветут все цветы». Несколько позже было добавлено: «За исключением ядовитых». Так вот ландыш — ядовит. Это общеизвестно. Но столь же общеизвестно, что вытяжка из него помогает работе человеческого сердца.

По-моему, не меньше вытяжки помогает работе человеческого сердца и сама красота его цветов, внушающих нам дополнительный стимул к жизни. Потому что среди немногих вещей, которые, в конце концов, будет жалко покидать на земле, найдет себе место и ландыш, весенний лесной цветок, прекрасный и совершенный образец вдохновенного творчества природы.

* * *

Как бы сменяют друг дружку целые цветочные цивилизации, по меньшей мере, народы.

То скифы господствуют в южных русских степях, то их сменяют татары. А то еще были хазары, печенеги и половцы. То угро-финны расселяются от Невы до Урала: чудь, мурома, меря и весь, то славянские племена: вятичи, кривичи, древляне, поляне. Гора от нашего села к реке никогда не бывает занята высоким луговым разноцветьем, травостоем, потому что на ней пасут скотину. Она постоянно покрыта плотной, мелкой травяной щеткой, вроде как подшерстком, сквозь который вырастают время от времени в виде ости (если уже мы взяли это сравнение) другие временные растения. Они-то и напоминают мне смену разных народов.

В конце апреля — в начале мая зеленая ровная поверхность нашей горы разукрашивается по всей ширине и длине крохотными синими (лиловатыми, впрочем) цветочками. Эти цветочки не поднимаются над основной постоянной травкой, напротив, они даже ниже ее и как бы вкраплены в зелень.

Они (разновидность фиалки, какая-нибудь там фиалка опушенная или фиалка собачья) не бросаются в глаза и не видны издали. Подходишь к горе и видишь

перед собой зеленую раннемайскую гору, которая сейчас тебя плавно и ровно, как на крыльях, спустит к реке. Но, поглядев под ноги, обнаружишь в траве свежие и неожиданные в ту бесцветную пору синенькие крохотные цветочки. Увидишь сначала один цветочек у огромного и тупого своего башмака (как если бы пятиэтажный дом собирался наступить на девочку, играющую на тротуаре), тотчас увидишь и второй и третий и вдруг радостно обнаружишь, что вся гора расцвела этими цветочками, кое-где образующими густые коврики. Садись поблизости и любуйся.

Если пойти в это время на другие косогоры, на склоны оврагов и холмов, всюду обнаружишь это тихое, скромное цветенье весенней земли, запутавшееся в густой травяной щетинке.

Скромный и мирный народец покажет миру, заявит о себе и исчезнет с поприща, как будто его и не бывало. Останется только в воспоминаниях, в лучшем случае в стихотворении, в песне, если вовремя попадается на глаза внимательному поэту. Как помним, именно об этих цветочках вспоминает девица из повести Куприна (называли их «сон» и красили ими пасхальные яйца).

На место незаметных синеньких цветочков хлынет и обольет всю гору яркая, горячая волна племени одуванчиков. Этим не надо разглядывать, раздвигая пальцами траву вокруг. Выбежишь на линию, с которой начинается уклон горы, и даже зажмуришься от обилия жаркого золота, от обилия солнца и в небе и на земле.

Но пройдет некоторое время, схлынет и эта волна. Покроется гора тонкой и блеклой позолотой манжетки, которую мы в детстве называли еще божьей росой за то, что собирает в своих листьях большие прохладные капли.

Даже и не позолота, а так себе — желтоватый тон. Но, конечно, если идти по горе в росистое утро, не намотришься на сверкание бесчисленных самоцветов,

которые дробят в себе так и сяк на составные радужные цвета белый свет и сиянье солнца.

Но однажды увидишь гору еще и в новом неожиданном украшении. Нет в помине лиловых цветочков, нет в помине ярких одуванчиков, нет в помине желтоватой манжетки. Теперь словно полупрозрачный белый газ накинули на зеленую траву, на зеленую гору. Легкое воздушное покрывало поддерживается на некоторой высоте крепкими стебельками, все более разветвляющимися кверху, словно нарочно для того, чтобы удобнее было держать на себе, пусть и невесомую, белую вуаль. Из земли поднимается один стебель, потом он ветвится на два, на три, а те, в свою очередь, достигнув предела своего роста, разбегаются на ажурные зонтики. Каждая «спица» зонтика оканчивается крохотным беленьким цветочком. Если бы разглядеть этот цветочек в отдельности, увидели бы, что он несколько похож на бабочку (величина — в половину спичечной головки). Но кто же будет разглядывать в отдельности такой цветок? Воспринимается сразу весь зонтик, а еще проще — целая гора. Цветет тмин.

Не знаю, кто как, а я люблю зонтичное. Мне нравится сама конструктивная схема зонтичного растения. Если растение обращено к небу, к космосу для того, чтобы улавливать энергию, свет, волны, импульсы, точно так же, как мы пытаемся при помощи металлических антенн улавливать радио— и телеволны, то посмотрите на зонтик тмина, или дягеля, или обыкновенного огородного укропа — какая четкая и разумная схема!

Один стержень (стебель) делится вдруг на множество лучей, направленных по сторонам и кверху. Растение как бы подставляет себя солнцу и небу. Именно так, похоже, мы подставляем раскрытые ладони под первые капли давно ожидаемого дождя. Но

стремление взять от неба как можно больше заставляет каждый лучик, каждую «спицу» зонтика делиться еще на лучи, образовать новый, самостоятельный зонтик. Как если бы, при жажде прикоснуться к дождю и воспринять его, на кончике каждого нашего пальцаросло бы еще по ладони, с растопыренными пальцами. У нас это было бы безобразно и уродливо, у зонтичных получается красиво, ажурно, стройно.

В конце концов каждое почти растение разветвляется на все более и более мелкие ветви, дабы превратить себя в антенну и дабы антенна эта получилась наиболее эффективной, но согласитесь, что не у каждого растения мы встречаем такую стройную и ясную схему. Словно прочие растения набрасывал свободным и фантазирующим карандашом раскованный в своем творчестве художник, а зонтичные вычерчены прилежным и педантичным чертежником.

На каждом кончике этой сложной и экономичной антенны присело по крохотному мотыльку с белыми или зеленоватыми крылышками. Отдельный цветочек надо разглядывать в увеличительное стекло, а в целом — белая кипень около тына и даже вот белая газовая вуаль над просторным склоном холма, ведущего к нашей речке.

Зонтичные для меня — признак полнокровного лета, вошедшего в силу. Если бы я был художник и если бы захотел написать этюд под названием «Лето», я бы изобразил тот угол нашего запущенного беспризорного сада, где около покосившегося тына белой пеной, белыми клубами поднимаются душистые зонтичные травы.

С весны — тын, да земля, да куст крыжовника около тына. Но вдруг вскипает белая волна и захлестывает и топит под собой и землю, и крыжовник, и сам забор. Надо поднять руку, чтобы достать до верхушек трав.

Лет семь назад я провел три недели в Дании. На одной крестьянской ферме я увидел некое зонтичное растение, поразившее меня своими размерами. Право же, в нем было не менее трех метров. На такую высоту оно поднимало зонты, мало чем отличающиеся в размере от настоящих дождевых зонтов, от которых и получило название все это зонтичное семейство.

Я спросил у фермера, нельзя ли набрать семян. Фермер ухмыльнулся, как, вероятно, ухмыльнулся бы наш крестьянин, если бы у него попросили семян репейника, горького лопуха. Тем не менее я набрал горстку семечек, завернул их в бумагу и положил в спичечный коробок. Я предвкушал удивление наших деревенских жителей, которые вдруг увидели бы где-нибудь около своего огорода огромное растение — каждый зонтик по тележному колесу.

Около дома была площадка, маленький пустырек, освободившийся, когда сломали некоторые дедовские постройки. Мы решили засадить эту площадку по краям шиповниковыми кустами и рябинами, а в середине вишневыми деревьями. Тут на рыхлую землю я и выбросил дальние, можно сказать, заморские семена.

Сначала я колебался. Вспоминались разные поучительные истории. Как заполонила все водоемы Европы случайно завезенная канадская злодея (прилипла к днищу корабля), прозванная даже потом водяной чумой. Как американская семья путешествовала по Африке и мальчик привез домой две улитки, и как мать мальчика выбросила этих улиток за окно, и как они вскоре съели растительность целого штата. Некоторые странички о сорняках из книги Александра Васильевича Цингера «Занимательная ботаника» тоже не давали покоя.

«Что такое сорные травы! Ученые-специалисты разделяют их на несколько различных категорий, но мы, не вдаваясь в подробности, будем называть сорными травами все те растения, которые независимо от нашего желания и даже наперекор нашим стараниям засоряют поля, луга, огороды и сады...

Представьте себе, что мы с вами на глобусе стали очерчивать области естественного распространения различных видов растений. Из тех примерно 250 тысяч видов высших растений, которые изучены, подавляющее большинство видов было бы отмечено на нашем глобусе лишь небольшими участками, а иногда всего каким-нибудь одним островком. Наберется лишь немного десятков таких растений, которые расселились если не по всему свету, то на половине всей суши и более... Это — весьма важная особенность многих из тех трав, которые мы старательно искореняем с огородных грядок и с садовых клумб. Они — «граждане мира», космополиты. У каждого из них есть, конечно, своя родина, то место, где когда-то впервые вырос тот или иной вид, но они отлично уживаются и далеко за пределами этой родины: и в Северном полушарии и в Южном, и в Старом и в Новом. Почему? Может быть, они отличаются особой неприхотливостью, невзыскательностью к условиям жизни? Нет! Любой опытный садовник ботанического сада скажет вам:

— Сорная трава отлично растет там, где мы ее стараемся уничтожить, но на приготовленных для нее грядках, несмотря на все наши заботы, зачастую одни только... ярлыки с названиями... Быстроту и упорство размножения сорных трав лучше всего можно было проследить в тех случаях, когда они вторгались и заполняли новые для них местности. Среди очень распространенных наших сорняков есть чужеземцы... Возьмем, например, невзрачный канадский мелколепестник, в песчаных местностях заполнивший

все пустыри, залежи, дороги, берега рек... Это — один из знаменитых «завоевателей» Европы. Он случайно попал в Париж в середине XVII века. Сохранились сведения, что его хохлатыми плодами было набито привезенное в 1655 году из Канады чучело птицы. Щепотка плодов случайно разлетелась по ветру, семена попали на подходящую почву. Проросшие растения развились, и в результате лет через сорок мелколепестник сделался по всей Европе самым обыкновенным растением.

За последние полвека, уже на моей памяти, — пишет далее А. В. Цингер, — и отчасти на моих глазах, произошло вторжение к нам другого американского растения — пахучей ромашки... Она стала распространяться по Европе с начала 70-х годов прошлого столетия... ботаники полагают, что ее семена были завезены с американским зерном. На моей памяти пахучая ромашка заполнила Тульскую губернию. Я отлично помню, как отец мой ездил на ботаническую экскурсию на берег Оки, километров за 60 от наших мест, и привез оттуда первый экземпляр пахучей ромашки, которая заняла тогда одно из почетнейших мест в его гербарии. Прошло лет пять, и американскую ромашку можно было легко найти по всей линии Московско-Курской дороги, прорезывающей наш район от севера на юг. Прошло еще лет пять, и она стала встречаться все дальше от железнодорожной линии, а еще лет через пять все края дорог, все незаезженные улицы деревень, все дворы, все пустыри сплошь были заселены американской эмигранткой. Ступая по коврам пахучей ромашки в нескольких шагах от дома, было смешно вспомнить радость отца, нашего «редкостную новинку».

Мне тоже стало мерещиться по ночам, как наше село, наши поля и сады окружают со всех сторон полчища трехметровых гигантов, наступающих стеной

и заполняющих все вокруг. Вот уж нет ни деревенок на склонах холмов, ни разнотонных полей ржаных, ячменных, картофельных, гречишных, клеверных, гороховых, овсяных и льняных, нет ни тропинок, ни дорог между этими полями, но всюду — ровные непроходимые заросли трехметрового зонтичного сорняка, вроде сплошного леса, вроде тайги. Люди разбежались в другие места, замерла вся жизнь, на корню истлевают брошенные дома, чьи крыши едва выглядывают из дремучих зарослей.

Американская ромашка — пустяк! Каких-нибудь 10–15 сантиметров от земли, мягкий коврик под босыми ногами. Другое дело, когда древовидные растения, высеянные моей легкой преступной рукой, начнут распространяться вдаль и вширь, завоевывать луга, берега рек, овраги, поля, дороги, деревни...

Но дело было сделано, семена брошены в почву, раскиданы по земле. Теперь их обратно не соберешь...

На другой год никаких необыкновенных растений на моей площадке не проросло. Потом начали разрастаться деревья и кусты, которые, как редко я их ни сажал, через три года перепутались, образовали густоту, колючую мешанину, усугубляющуюся летом крапивой, репейником и всякой другой травой.

Однажды мне понадобилось залезть в эту зеленую гущу для того, чтобы попытаться спасти куст жасмина, совсем затененный соседними деревьями.

Едва ли не ползком я пробрался под непроницаемый для солнца полог рябиновых и вишневых ветвей и увидел, что под их пологом не растет даже трава.

Куст жасмина погибал. Торчали сухие палки, и только два зеленых побега говорили о том, что борьба за существование продолжается и пульс еще бьется.

Я знал, конечно, что в конце июня пересаживать растения нельзя. Но этот куст был мне очень дорог. Увидев, что он еще жив и борется, мне захотелось

оказать ему немедленную, хотя бы рискованную помощь. В конце концов, если окопать растение со всех сторон, подальше от стволов, от стеблей, и как можно глубже, если выворотить его потом вместе с глыбой материнской земли и опустить эту глыбу бережно в большой таз, и бережно перенести, и бережно поместить в заранее вырытую яму в хорошем месте, а потом поливать и ухаживать... поболее, перестрадает, но для своего же блага.

С жасмином я так все и сделал и тогда увидел, что загораживаемые сухим жасминным кустом, то есть в еще большей и глубокой тени, без всякого травяного соседства, из влажноватой гладкой земли растут два больших, продолговатых, пятилопастных, на толстых черенках лопуха, совсем не похожие на какие-нибудь наши местные лопухи.

Я рассказал о своей находке за столом во время обеда, и моя сестра Екатерина Алексеевна, человек очень внимательный к природе, меня огорошила.

— Это растет какое-то твое заморское растение. А ты разве не знал? И прошлый год оно там росло, и три года назад. Только оно не вырастает как полагается, потому что ему там очень плохо.

Если нельзя пересаживать среди лета древесный куст или деревце, то тем более нельзя этого делать с травянистым растением. Но удачная пересадка жасмина вдохновила меня на дальнейшие садовнические подвиги, а вернее сказать — глупости. Мой пересадческий зуд подхлестывался воображением, которое почему-то не рисовало, как засыхает и гибнет неведомое растение, уже перенесшее несколько лет тяжелых невзгод, но рисовало только радужные картины: как хорошо этому растению на новом месте, как оно радуется и, достигнув той, памятной мне высоты, набирает огромный зонт, расцветает и,

благодарное, сыплет мне в пригоршни щедрые многочисленные семена.

Как ни глубоко я окопал со всех сторон несчастное растение, оно не хотело колебаться, и, взяв еще поглубже, я с отдачей в сердце услышал, как под острым железом хрустнул толстый и сочный корень.

Сестра же и начала ухаживать за обоими новоселами. Тотчас она их полила и сказала, что будет поливать каждый день утром и вечером.

На другое утро я пошел поглядеть на свои растения и увидел, что оба чувствуют себя хорошо. За жасмин я не опасался. Но благополучие неизвестного растения показалось мне мнимым. Ведь даже и сорванный цветок, поставленный в воду, не вянет несколько дней.

С другой стороны, почему ему завянуть? Ему, правда, пришлось проделать принудительную эмиграцию, но ведь из каких условий в какие? Или не главное, что из плохих условий в хорошие, а главное, что из привычных в непривычные? Обращались же с ним по возможности бережно. Не выдернули ведь, не бросили на новое место — расти как знаешь. Пересадили вместе с материнской землей.

Корень, правда, пришлось перерубить. Но у какого эмигранта не перерублены корни? Однако выживают, живут. Без крупицы материнской земли. Отрождаются и живут. Тем более что за моим «эмигрантом» предполагался уход.

Через три дня сестра пришла из сада, заметно отводя взгляд.

— Ну как наш «датчанин»?

— Да ведь, кажется, ничего. Большой лист, правда, прилег на землю. Я его загородила газетой. Может быть, ему слишком жарко?

— Там рассеянный свет. А под газетой вовсе не будет никакой жизни. Газету надо убрать.

Но увы, газета была уже как белая простыня, которой накрывают с головой только что отошедшего человека, покойника.

Второй лист пока продолжал держаться, не сникал, не обвисал, как тряпка. Значит, шел снизу, от корней некоторый напор соков, который заставляет стебли трав стоять вертикально и быть упругими, а листья деревьев держаться даже горизонтально, что гораздо труднее.

Перерубленные корни борются там, в земле. Им нужно питание, идущее сверху, чтобы успели зарубцеваться раны, чтобы успели вырасти новые, аварийные корешки. Из всех сил они стараются поддержать один лист, ибо с двумя справиться им не под силу.

Но вот и второй лист дрогнул и сдал. Некая слабость, вялость разлилась по нему. Так начинает слабеть волейбольный мяч, когда из него через незаметную дырочку начинается утечка воздуха.

Корни не в силах больше поддерживать лист в напряженном, живом, рабочем состоянии. Лист, в свою очередь, перестает подавать корням то, что им нужно. Растение погибает. Какой выход оно может найти из создавшегося положения? Какие меры принять? По-видимому, на наш человеческий взгляд, — никаких. Положение его безвыходно.

Какое же именно растение загублено мной, я мог только гадать. Судя по ботаническим атласам, это мог быть какой-нибудь из борщевиков. Например, Монтеверде пишет: «Борщевик пушистый. Крупное зонтичное, ветвистый стебель которого достигает 2–3 метров. Листья большие, сверху голые, снизу пушистые, пластины их перисто рассечены на 5–7 крупных перисто-лопастных долей... Дико растет в лесах Крыма и Закавказья; разводится в садах. Цветет летом. Из других наших исполинских борщевиков в садах чаще

разводится борщевик волокнистый, встречающийся в гористых лесах Крыма и Кавказа...

А мог быть и каким-нибудь из наших борщевиков. Например, вырос бы он у меня, выхоженный с таким трудом, привел бы я к нему наших мужиков поглядеть на заморское диво, а мужики бы рассмеялись: «Да вон в Крутовском овраге, в лесу, такого дива сколько угодно!» Для новеллы лучшего конца, пожалуй, и не придумаешь.

Однако пока я лазал по ботаническим атласам, жизнь продолжалась. Там, где сходились около земли два увядших листа, вдруг появился острый, желтоватый, похожий на волчий клык, росток. Через два дня он поднялся до десяти сантиметров, а потом, еще через несколько дней, стал длинным, зеленым, сочным и развернулся в новый лист. У основания этого нового листа прокусил землю еще один волчий клык. Растение победило все невзгоды, в том числе и мою глупую безвременную пересадку с места на место. Теперь не будем гадать. Теперь растение само расскажет о себе все, что мы сумеем воспринять, глядя на него и сравнивая с другими растениями.

...Тмин, в связи с которым мне вспомнилась эта история, среди зонтичных считается карликом. Много-много, если он поднимет свои зонтики на полметра от земли, и то где-нибудь среди высокой травы, в кустах, около прясла. Тмин семидесяти сантиметров ростом надо считать из ряда вон выходящим. На открытом же, притоптанном скотиной месте, вроде нашей горы, он поддерживает ту самую «вуаль» своего цветения на высоте чуть-чуть выше обыкновенного школьного карандаша.

Должны были приехать друзья, и мне понадобилось три горсти тминных семян, чтобы приготовить настойку. Однако, как и во всяком деле, когда ходишь

просто так, кажется — вся земля засеяна тмином, но когда надо насобирать, он куда-то весь исчезает.

Сосед подсказал:

— Ступай на место бывшего вашего залога.

— Почему?

— Как же? Дедушка Алексей Митрич, бывало, идет по дороге, увидит тмин, сощипнет — и в карман. А потом на своем залоге рассеет. Подсеивал, значит. От тмина и сено душистее, коровы с аппетитом едят, и молоко полезнее, и так, если понадобится, в огурцы, в капусту, в графинчик. А то и в хлеб добавляли...

Я подумал, что насчет дедушки — фантазия моего соседа, но придя на место, где раньше был наш залог, я действительно увидел изобилие тмина, оттесненного, правда, тракторными и автомобильными колеями, буграми и ямами, и тотчас насобирал несколько горстей его замечательных, душистых и целебных семян.

Хотя и случайно, но так и получилось, что подсеивал дедушка для своего внука.

* * *

Берем Махлаюка: «Пижма обыкновенная. Народные названия: полевая рябина (большинство областей РСФСР), трилистник (Сибирь), горлянка (Тульская, Воронежская обл.), девясильник желтый (Пермская, Кировская обл.), маточник (Воронежская обл.), пижма дикая, горлинка (УССР)...)»

Ну, во-первых, если уж говорить о народных названиях, то вряд ли кто именно так и скажет по-книжному: «полевая рябина». Получилось бы очень искусственное, неточное название.

Скажут (в большинстве областей РСФСР) не полевая рябина, а рябинник. И в этом есть тонкость. Пусть не садовая, не черноплодная, не невеженская, не лесная,

не гранатовая — полевая, но все-таки никаких ягод. Правда, что листья этой травы немного похожи на рябиновые, а кисть цветов похожа на желтую рябиновую кисть. То есть, значит, цветы похожи на ягоды. Ну, значит, и есть рябинник. Трава, напоминающая рябину.

Что касается названия «пижма», то я за сорок семь лет своего существования на земле ни разу не слышал этого слова из уст других людей, но исключительно читая в книгах. Вероятно, оно употребляется только на Украине и в более южных российских областях.

Мое лирическое отношение к этой траве вполне объяснимо. Рябинник для меня почти всегда синоним и как бы олицетворение тревожной грусти. Это позднелетний, предосенний цветок. Когда растут васильки и ромашки, колокольчики, незабудки, купальницы и ночные фиалки, когда небо звенит жаворонками, а ольховые кусты около реки соловьями, когда кажется, что лето длится долго, если не всегда, и что все еще впереди, рябинник тогда только набирает листву, кустится, не бросаясь в глаза пешеходу и не оказывая никакого влияния на его настроение. Когда же рябинник достигает своей метровой высоты и распустит ярко-желтые кисти своих цветов, обозначив собой все тропинки, дороги, межи, края полей, канавы, границы сельских кладбищ, тогда поздно думать о лете, надо считать, что оно прошло. Расцветает рябина для лета как приговор, как запоздалый диагноз распространенной теперь болезни, когда уж ничем нельзя помочь, даже и радикальным ножом хирурга.

Нет, вокруг еще много тепла и света, еще нет никаких очевидных признаков осени, холодных ветров, морозящих дождей, черной земли, черной темени. Все сияет, зеленеет, золотеет, дышит зноем, утопает в небесной лазури. Но сердце над расцветшим рябинником знает уже вопреки бездумному летнему

полдню, что где-то в очень большой глубине природа дрогнула, надорвалась, надломилась и песенка, как ни грустно, спета. Цветы рябинника на земле как крик журавлей в небе, как желтый лист, вдруг упавший на речную воду при внезапном и сильном порыве ветра.

А казалось бы — мощное, пышущее здоровьем растение, не томный цветочек, не худой стебелек, сгибаемый ветром так и сяк.

Зацветает рябинник. Не успели оглянуться, уже зацветает рябинник. Не успеешь оглянуться, как уже торчат из-под снега его сухие темные стебли. Ведь если торчит из-под снега какая-нибудь трава, то в первую очередь рябинник. И зимний ветер тихонько звенит в его пересохших ломких стеблях, и птички шелушат его почерневшие кисти, роняя на снег мелкий мусор и мелкие, как пыль, семена.

* * *

Сколько бы мы ни убеждали широкие массы трудящихся, что они совершают грубую ошибку, называя ромашками цветы, которые на самом деле называются поповником, мы не заставим их отказаться от первичного, освященного веками и даже искусством (песнями, во всяком случае), представления о ромашке как о крупном цветке с желтой плоской серединкой и с крупными белыми лепестками по краям.

«Давай погадаем на поповнике?» Так, что ли? «И не выросла еще та ромашка, на которой я тебе погадаю». «И не вырос на земле тот поповник...» Нет уж, пусть лучше все мы ошибаемся, но останемся с ромашкой.

А между тем книга пишет о цветке, на котором мы гадаем, обрывая белые лепестки, что у него, у этого цветка, «цветочные корзинки одиночные, крупные,

белые, похожие на ромашку». Вот как. Лишь похожие на ромашку.

Но товарищи и дорогие друзья! В конце концов названия цветам даем мы, люди, не зная, как они называются на самом деле. В конце концов мы переименовываем целые города. Так ли уж сложен, даже с точки зрения чистой науки, вопрос — считать поповник разновидностью ромашки и наряду с другими разновидностями, с ромашкой аптечной, душистой, долматской, римской, собачьей, непахучей, розовой и мясокрасной, писать еще, скажем, ромашка крупная?

Интересен в связи с ромашкой (простите, с поповником) еще и такой вопрос. Если все в природе целесообразно (а так оно и есть), то мы, встречаясь с каким-нибудь явлением, всегда вправе спросить: а зачем?

— Зачем дереву листья?

— Чтобы улавливать солнечную энергию и углерод, чтобы выделять кислород, чтобы испарять влагу, чтобы осуществлять фотосинтез.

— Зачем растению корень?

— Чтобы устойчиво держаться в почве и усваивать из почвы нужные вещества.

— Зачем тычинки и пестики?

— Тычинки вырабатывают пыльцу, а пестик является женским органом размножения.

— Зачем одуванчику парашютик, клену крылышки, репейнику колючки-зацепки, ковылю пушистая ость, землянике сладкие сочные плоды?

— Чтобы удобнее распространять по белому свету свои семена.

— Зачем цветам аромат?

— Вопрос неясный и спорный. Последние опыты показывают, что в приманке насекомых он играет третьестепенную роль. Высказывались предположения, что он предохраняет цветы от озябания, но цветы

пахнут и в жаркое время. Можно предполагать, что аромат создает вокруг цветка микроклимат, микросферу (нечто вроде скафандра), но многие цветы не пахнут и тем не менее прекрасно себя чувствуют в земных условиях. Если цветы влияют на своих соседей и либо угнетают, либо поощряют их, то, может быть, не последнюю роль в этом играет аромат цветов? А может быть, это средство связи между цветами? Может быть, обычный экземпляр ночной фиалки лучше себя чувствует и лучше растет, если знает, что неподалеку на земле растут другие экземпляры этого же вида? Одним словом, вопрос неясный и спорный.

— А зачем поповнику (то есть ромашке) белые длинные лепестки?

— На этот вопрос ответа нет.

— Архитектурное излишество? Чистое искусство? Неизвестная нам необходимость? Не знаем.

Если приманивать насекомых, то одуванчик — ведь желтый — делает это лучшим образом. Да и мало ли желтых цветов, к которым прилетают пчелы, шмели, мухи, бабочки. Ромашка вполне могла бы обойтись своей желтой серединкой. Ведь это и есть ее цветы, а про белые лепестки говорится, что они хотя и пестиковые (по происхождению), но ложные и в процессе размножения никакого участия не принимают.

В природе много разных загадок. Так, например, многие поколения ученых пытаются разгадать, почему кукушка откладывает яйца в чужие гнезда. Зачем птицы совершают перелеты почти через весь земной шар? Не меньшую загадку представляют неожиданные, фантастические миграции некоторых грызунов, когда несметные полчища леммингов устремляются даже в океан, где гибнут.

Секрет, подобный ромашкиному, не столь вопиющ, из ряда вон выходящ и очевиден. Он как бы незаметен на скользящий поверхностный взгляд, но он такой же

правомочный секрет, в ряду других секретов, которые природа нам преподносит.

Счастливая случайность для нас, что ромашки цветут яркими белыми лепестками. Представьте себе, сколько бы мы потеряли, если бы это растение спохватилось и решило избавиться от праздного украшательского излишества и цвело бы только желтыми плотными, похожими на пуговицы, лепешечками. Кошмар!

С ромашкой связано и еще одно мое ощущение. Красив и пышен цветок хризантемы, а я его не очень люблю. Я знаю, что хризантема так или иначе, рано или поздно выведена, произошла от ромашки. Поэтому, когда я держу в руках мохнатую шапку, состоящую из сотен перепутавшихся, как мочалки, лепестков, я все равно сквозь эту махровую путаницу вижу первоначальную четкую схему ромашки, и ромашка каждый раз загораживает для меня хризантему, мешает ее воспринять и полюбить.

* * *

«И вот былинку понесла река», — проходит ритмичным повтором в романе Леонова «Русский лес».

«И в небе каждую звезду, и в поле каждую былинку», — благословляет А. К. Толстой.

В песне жалуется девица, что она сирота, «как былинка в поле». И никак не могла бы девица в песне сослаться на какой-нибудь другой цветок. Как незабудка в поле, как ромашка в поле, как колокольчик в поле... Почему-то все эти цветы (а их ряд можно продолжать) не несут дополнительного заряда грусти и тревожной тоски. Такой заряд несет в себе другое слово — былинка.

А в сущности, что такое былинка? Среди двухсот пятидесяти тысяч видов трав и цветов (или сколько их там?), известных человеку и обозначенных названиями, никакой былины нет и не было. Что такое былина? Нечто близкое, обобщенное, вроде — «животины», применительно к животным?

Может быть, так оно и есть. Может быть, народ прозвал былинкой всякую одинокую, сиротливую травинку, а тем более засохшую, прошлогоднюю.

И все же одна из самых известных трав так прямо и называется в наших местах — былина. И если сказать кому-нибудь: «Я пойду и нарву былины», — никто не подумает, что нарву сурепки, дягиля, молочая. Но все так и поймут, что я пошел за былиной. Растение это — обыкновенная горькая полынь.

Не трудно вообразить, какое возражение вызовет последняя фраза у ботаника, потому что она и впрямь ботанически неграмотна. «Какую же полынь, — строго спросит ботаник, — вы имеете в виду: обыкновенную или горькую?» Ибо существуют на свете полыни: обыкновенная, австрийская, горькая, метельчатая, цитварная и еще другие полыни.

Ботаник прав. Но если не вдаваться в тонкости, то для народа всякая полынь прежде всего горька, и всякая горькая полынь вполне обыкновенна.

И вот вам пример, как можно завоевать популярность, не будучи ни ландышем, ни васильком, ни фиалкой, не бросаясь в глаза желтыми, белыми и красными цветами, ни даже хотя бы сочной зеленью, как крапива. Как будто нарочно, чтобы исключить всякую внешнюю привлекательность, полынь рождается серого цвета, который, как известно, является символом вопиющей бесцветности.

И чем же она завоевала свою популярность? Не сладостью ли плодов, подобно землянике? Не вкушением ли и свежестью листьев и стеблей, подобно

салату, капусте, щавелю, сельдерею? Не сочностью ли кореньев, подобно моркови, петрушке и редиске?

Но на полыни не растет никаких ягод. Но вся полынь, начиная от невзрачных цветочков и кончая деревянистыми корнями, вполне несъедобна не только для человека, но и для животных — ее не ест никакая домашняя скотина.

Даже другие растения сторонятся ее и растут всегда на почтительном отдалении.

Чем же завоевала полынь широкую, всеобщую популярность? Своей неповторимой полынной горечью! И еще раз повторю — вот вам пример. Уж если вы хотите быть горьким и несъедобным, будьте образцом горечи и несъедобности, неким идеалом горечи, будьте последовательны своей горечи, идите по пути горечи твердо и до конца. Лишь в этом случае вы добьетесь признания, даже уважения своего качества, если даже оно не больше, чем полынная горечь.

Ну, правда, помогает полыни и ее неповторимый, незабываемый, если уж кто растер в пальцах и понюхал, запах.

На стихотворение Майкова «Емшан» сослаться уж как будто и неприлично, оно становится общим местом. Но ведь факт же, что Хана, забывшего свою родину ради чужой стороны, не могли возвратить никакие соблазны, пока не понюхал он лукаво присланный ему пучок сухой полыни.

Путешествуя по казахстанским и киргизским степям, я так надышался полынью, что вполне понимаю Хана, вспомнившего через аромат засохшей травы весь огромный и сложный комплекс родины и тотчас помчавшегося на коне в родные пределы, навстречу широким и светлым, сухим и терпким горьковатым ветрам.

Горечь полыни приносили на своих губах и в складках одежды киевские дружины, воевавшие

половцев. Вкус полыни будет долгие годы сопровождать воспоминания тех лет, когда вздымались и опускались конармейские клинки и сквозь степную полынную пыль медленно проступали красные пятна степных закатов.

Пишу сейчас за городским столом, в окружении ничем не пахнущих городских предметов, а слышу запах степи под Акмолинском, Атсабаром, Кустанаем и еще дальше в предгорьях Тянь-Шаня и Алатау. Жестокое киргизское седлецо, тяжелая камча на руке, пиала с кумысом, принятая из рук гостеприимной хозяйки, кизячный дымок костра, уже приправленный ароматом вареной баранины, мягкая кошма в теплой юрте, предчувствие полной луны над разогретой днем, но странно остывающей ночью степью, и полынь, полынь, полынь... Велика и устойчива власть ее запаха над нашей памятью. Не зря эту траву у нас еще называют — былина.

* * *

ИЗВЛЕЧЕНИЯ

К. Тимирязев. «Жизнь растений»

«Растение питается для того, чтобы расти, растет для того, чтобы питаться, т. е. увеличивать поверхность принимающих пищу органов. Эти два совместных процесса могут длиться очень долго, у некоторых растений тысячами, но тем не менее им наступает предел, хотя, собственно говоря, мы не в состоянии объяснить себе необходимость подобного предела, мы не в состоянии понять, почему бы один и тот же растительный организм не мог существовать неопределенно долгое время».

«Для поддержания растительных форм необходимо, чтобы они от времени до времени обновлялись посредством процесса слияния двух отдельных клеточек. Значение, необходимость, смысл этого закона существования двух полов для нас совершенно темны: это только эмпирический закон, основанный на совокупном свидетельстве всех нам известных фактов».

«В кокосовых плодах замечательны следующие особенности: наружная кожа непроницаема для морской воды, а толстый волокнисто-мочалистый слой содержит воздух, что и поддерживает орех на поверхности моря. Далее следует очень твердая скорлупа и большая полость, наполненная водянистой жидкостью — кокосовым молоком. Эта жидкость составляет большой запас пресной воды для потребностей зародыша в течение его далекого морского плавания, совершенно так, как это делают моряки для дальних экспедиций».

«Другой способ... основывается на обоюдной пользе, на привлечении животных известными частями плода, годными в пищу. Таковы сочные и мясистые плоды, например, земляники или косточковые плоды вишни, черемухи, персика, малины и т. д. ...необходимо, чтобы мякоть плода привлекала животное, как лакомая пища, и бросалась ему в глаза, и в то же время, чтобы семена были защищены так, чтобы могли проходить без вреда через пищевой канал животного. Это осуществляется таким образом: пока семена развиваются и еще не образовали толстой защищающей их оболочки, вкус плодов своим изобилием кислот и разных терпких, вяжущих веществ не привлекает животных, да и к тому же они мало заметны, так как не отличаются цветом от листьев. Но когда семена созрели и получили защищающую их оболочку, в плодах накапливаются сахаристые, крахмалистые и другие питательные вещества, и окраска плодов бросается в глаза.

Особенно распространен яркий красный или желтый цвет. Этот способ разнесения семян вместе с извержениями животных выгоден для растения еще и тем, что почва в ближайшем соседстве оказывается богато удобренной».

«...вся листовая поверхность клевера в 26 раз превосходит площадь земли, занимаемую этим растением, так что десятина, засеянная клевером, представляет для поглощения лучей солнца зеленую поверхность в 26 десятин. Другие растения дают более высокие цифры. Эспарцет имеет листовую поверхность в 38, а люцерна в 85 раз более занимаемой ими площади. Смешанные травы, по всей вероятности, дали бы еще более высокие цифры».

«Но тут-то именно, на этом кажущемся пределе, физиолог начинает смутно сознавать, что его задача не исчерпана, что из-за всех этих частных вопросов всплывает один общий, всеобъемлющий вопрос: почему все эти органы, все эти существа так совершенны, так изумительно приспособлены к своей среде и отправлению? Чем поразительнее факт, чем совершеннее организм, тем неотвязчивее вопрос: да почему же он так совершенен? Как, каким путем достиг он этого совершенства? Неужели стоило сделать такой длинный путь для того, чтобы в конце его услышать лаконический ответ: не знаю, не понимаю и никогда не пойму. Правда, естествоиспытатель охотно, быть может, охотнее и откровеннее других исследователей, всегда готов сказать: не знаю; зато тем настойчивее хватается он за первую возможность объяснения, тем ревнивее охраняет он те области знания, куда успел уже проникнуть хотя бы слабый луч света».

«Жизнь растения представляет постоянное превращение энергии солнечного луча в химическое напряжение; жизнь животного, наоборот, представляет превращение химического напряжения в теплоту и

движение. В одном заводится пружина, которая спускается в другом».

«Дрова горят, животные горят, человек горит, все горит, а между тем не сгорает. Сжигают леса, а растительность не уничтожается; исчезают поколения, а человечество живет. Если бы все только горело, то на поверхности земли давно не было бы ни растений, ни животных, были бы только углекислота да вода.

Очевидно, в природе должно существовать явление, обратное горению, т. е. превращение веществ, вполне сгоревших, в вещества, вновь способные к горению. Рядом с образованием углекислоты должен существовать и обратный процесс разложения этой углекислоты, образованной повсеместным горением».

«В природе должен существовать процесс, который этот испорченный воздух вновь превращает в хороший. Не принадлежит ли эта роль растению?»

«Животные поглощают кислород и выделяют углекислоту; растения поглощают углекислоту и выделяют кислород... растение и животное представляют химическую антитезу».

«Это роль посредника между солнцем и животным миром. Растение или, вернее, самый типичный его орган — хлорофилловое зерно — представляет то зерно, которое связывает деятельность всего органического мира, все то, что мы называем жизнью, с центральным очагом энергии в нашей планетной системе. Такова космическая роль растения».

«Это — превращение простых, неорганических веществ, углекислоты и воды в органическое, в крахмал, есть единственный, существующий на нашей планете, естественный процесс образования органического вещества. Все органические вещества, как бы они ни были разнообразны, где бы они ни встречались, в растении ли, в животном или в человеке, прошли через лист, произошли из веществ,

выработанных листом. Вне листа, или, вернее, вне хлорофиллового зерна, в природе не существует лаборатории, где бы выделялось органическое вещество. Во всех других органах и организмах оно превращается, преобразуется, только здесь оно образуется вновь из вещества неорганического».

* * *

«Привыкли считать, что солнце у всех одно и земля одна. И тут есть две крайности. Так и можно считать единственным и солнце и землю, если приподняться, отвлечься и вести разговор на уровне общих процессов, на уровне, там, поглощения углекислоты, процессов в хлорофилловом зерне, в прорастающем семечке. Но в другой крайней точке, можно сказать несколько не преувеличивая, что у каждого отдельного растения (не вида, а именно растения, экземпляра) своя земля и свое солнце. На этот одуванчик падает тень от садовой избушки, а на этот одуванчик — не падает. У этого под корнями оказался обломок кирпича, а у этого в корнях оказалась гнилушка. Мимо этого во время дождя всегда бежит ручей, а мимо этого не бежит. Этот оказался на южном склоне оврага, а этот — на северном. Этот в кустах, а этот на чистом месте. Этого облучает своими жесткими фитонцидами близко стоящая черемуха, а этого осеняет мягкая широкошумная липа. Затем начинается более широкая разница: в кислотности почвы, во влажности воздуха, в количестве годового тепла, в господствующих ветрах, в морозах и паводках, в высоте над уровнем моря, в географической широте...

Что же делать одуванчику, который вынужден расти в тени садовой избушки и которому больше бы нравилось расти на открытой поляне, где и растут его многочисленные соплеменники. Очевидно, ему нужно

перебраться, перебежать к ним из тени на солнце. Незабудке, случайно оказавшейся на сухом косогоре, совершенно необходимо сбежать вниз на дно оврага, где постоянно сочится вода. Валериане, выросшей на полевой меже, необходимо срочно перебраться в приречные кусты. Пижме, выросшей в приречных кустах, необходимо срочно перебраться на полевую межу.

Убегая из одних микроусловий и задерживаясь в других, постепенно переселяясь, путешествуя по земле, распределяясь и перераспределяясь, сортируясь и группируясь, растения выбрали себе те места, те условия на земле и под солнцем, где им больше по вкусу, и теперь, обозревая растения в какой-нибудь книге, мы можем точно их разделять и говорить так: «Распределение растений по их месту обитания. Опушки и лесные поляны. Суходольные луга. Заливные или сырые луга. Сорные места, пустыри. Встречающиеся около жилья. Встречающиеся вдоль дорог. Степи и степные склоны. Берега рек, озер, прудов. Лиственные и смешанные леса. Горы, каменистые склоны, скалы...»

Получается, что незабудкам, выросшим на суховатом склоне, с одной стороны, нельзя сбежать на дно оврага и никто до сих пор не видел бегающую незабудку. Но, с другой стороны, посмотрите, все они в конце концов сбежали с горы и растут в низине, на влажном месте, там, где им больше нравится. А кошачьи лапки, семена которых занесло в низину, на влажное место, в конце концов сумели выкарабкаться на влажный косогор, туда, где как можно суше.

Всюду растёт трава. Всюду она цветёт, не одна, так другая. Но все же с понятием «трава» у нас сочетаются, в первую очередь, те места на земле, которые, кроме всего, специально предназначены для роста цветущих трав. Здесь травы поднимаются зеленой стеной,

разливаются пестрым половодьем. Здесь же они ложатся под острыми косами, во время обильных утренних рос. Росную траву легче режет коса, потому и косят ее во время росы. Но теперь, с изучением чувствительности растений, можно считать установленным фактом одно замечательное совпадение. Во время холодной росы, в ранние часы утра, травы как бы онемевают, становятся как бы анестезированными, менее чувствительными и ложатся на землю с меньшей болью.

Но если рассуждать строже, то почему именно луга надо иметь в виду, когда мы говорим о траве? А поля? Разве на полях не трава? В чем же разница? А в том, что эти травы культурные. Точно так же как мы домашнего поросенка не считаем за зверя (за вепря) и корова для нас — не лосиха, так и овес с горохом и клевер вроде бы не трава. Прирученные, одомашненные растения.

И вот растут себе дикие травы и не знают, что вокруг них разворачиваются словесные бои, происходят научные конференции и даже международные конгрессы. Случайно включив телевизор, я увидел крупным планом одного знаменитого председателя колхоза, пресыщенного уж известностью и славой и оттого бросающего свои слова с непреложной директивной брезгливостью:

— С лугами пора покончить. Все разровнять, все распахать, все засеять культурными травами и пустить косилки!

Растут и не знают луговые травы, что, может быть, так вот, в одночасье, и решится их судьба. Понравится эта смелая, как бы дерзкая идея — распахать луга, засеять их какой-нибудь одной культурной травой, — и начнется искоренение десятков и сотен разнообразных прекрасных трав, несущих земле, миру и нам, конечно, людям, что-нибудь драгоценное, индивидуальное, на других непохожее.

Выпишу только некоторые растения, которые растут на наших заливных сырых и суходольных лугах, чтобы напомнить о великом многообразии, о богатстве природы, доставшейся в наше распоряжение.

Атей, белозер, белоус, василек, вероника, гвоздика, горец, девясил, колокольчик, кукушкин цвет, кровохлебка, лапчатка, лютик, марена, мыльнянка, мята, окопчик, очиток, подмаренник, подорожник, плакун, сердечник, серпуха, сивец, сурепка, стальник, сусак, таволга, хвощ, частуха, чихотная трава, чемерица, мник, щавель, бедренец, борщевник, герань, горчак, душица, донник, желтушник, зверобой, земляника, разные клевера, козлобородник, коровяк, молочай, нивяник, цикульник, фиалка, цикорий, шалфей, адонис, бессмертник, грудница, грыжник, прострел, цсин, чабрец, воробейник, болиголов, астра, переступень, манжетка, зубровка, купальница, чистотел, сныть, пустырник, золототысячник, яснотка, ятрышник, любка, ягель, валериана и множество, множество разных чудесных трав.

На необъятных, как говорится, просторах нашей Родины, по берегам больших рек, разливающихся весной, подобно морям, по берегам небольших рек и речушек лежат сенокосные луга, сенокосные уголья. Все равно не миновать нам упоминать какие-нибудь цифры, начнем же с этой.

В Российской Федерации имеется восемьдесят шесть миллионов сенокосов и пастбищ по данным за 1971 год. Значит, в эту цифру уже не входят луга, затопленные человеком, в частности не входит волжская пойма, которая ликвидирована вся целиком, за исключением небольшого прогалка от Нижнего Новгорода (Горького) до Чебака. А всего в эту цифру не входит полтора миллиона гектаров затопленных земель.

Казалось бы, оно и немного по сравнению с восьмьюдесятью шестью миллионами. Но разве один гектар традиционного, находящегося под руками приволжского луга, не вошедшего теперь в цифру, не стоит десяти и даже ста гектаров (вошедших в цифру) кочковатых лугов где-нибудь на окраине республики Коми или вятской земли, в неудобном комарином углу?

Если взять данные за 1971 год, то увидим, что культурных и улучшенных сенокосных угодий, лугов и пастбищ набирается в Российской Федерации немногим больше четырех миллионов. Ну а четыре миллиона и полтора уже можно сравнивать.

Поскольку ведомость попала нам в руки, поинтересуемся, как подразделяются эти восемьдесят шесть миллионов гектаров лугов и пастбищ. А вот как.

Чистых лугов и пастбищ — 68 000 000 (я опускаю десятые и сотые доли); заросших кустарником и мелколесьем — 14 000 000; покрытых кочками — 160 000; засорено камнями — около 6 000 000; заболоченных — около 5 000 000; засоленных — миллион с третью; избыточно увлажненных — более миллиона. А всего требующих мелиорации и улучшения — сорок миллионов гектаров. Для сравнения можно вспомнить, что это приблизительно две «целины».

Восьмьдесят шесть миллионов гектаров лугов и пастбищ в одной только, пусть и самой большой республике, а там еще Украина, Белоруссия, Тянь-Шань и Алатау, степные и высокогорные пастбища Казахстана и Киргизии, луговые угодья Прибалтики, молдавские степи...

Считается, что у нас в Российской Федерации двадцать семь миллионов гектаров сенокосной площади (остальные от восьмидесяти шести миллионов — пастбища). В 1940 году выкашивалось тридцать два миллиона гектаров, то есть площадь, обширнее контрольной официальной и расчетной.

Откуда брались пять миллионов гектаров? Очень просто. Маленькие овражки, полевые межи, лесные опушки и поляны. Всегда можно пройтись косой по дну и склону небольшого овражка, не причисленного к сенокосным угодьям, глядишь, выросло четыре копны сена, немного огрубленного осокой или сдобренного душистой таволгой. Там четыре копны, да там четыре копны, да там десять копен, да там пусть хоть одна копна — набирались их по России миллионы, потому что, повторяю, пять миллионов гектаров обкашивалось сверх расчетных двадцати семи миллионов.

В 1965 году колхозники выкосили уже не тридцать два, а двадцать один миллион гектаров. К 1971 году эта цифра сократилась до шестнадцати миллионов, то есть сократилась, по сравнению с 1940 годом, в два раза.

«Фактически укосная площадь естественных сенокосов в хозяйствах Калининской области за период с 1960 года по 1968 сократилась на 45, Ленинградской на 38, Вологодской на 20 процентов. В целом по РСФСР эти площади сократились с 23,8 миллиона гектаров в 1960 году до 18,5 миллиона гектаров в 1968 году» (**Усынин П.** Кладовые кормов. — Сов. Россия, 1970, 28 апреля).

Это свидетельство интересно тем, что оно принадлежит начальнику Управления лугов и пастбищ Министерства сельского хозяйства РСФСР П. Усынину (тогда он занимал этот пост), но сам по себе 1968 год уже нам неинтересен, если у нас есть 1971-й.

Нетрудно догадаться, что если меньше косим, то меньше и сена. Если взять даже самый средний урожай естественных трав, ну, скажем, семь центнеров с гектара, то, помножив, получим недостачу — сто двенадцать миллионов центнеров лугового сена. Этим сеном можно прокормить всю зиму 6 720 000 коров.

Я спросил в министерстве: почему стали меньше выкашивать лугов? Мне ответили: потому что стало

меньше кос. Ответ неожиданный и простой. Конечно, их стало меньше не из-за того, что не успевают вырабатывать, но оттого, что меньше стало в деревне рук, которые этими косами могли бы махать.

— Все же в прошлом году продано четыре с половиной миллионов кос, — порадовались в министерстве. — Но знаете, не все ведь эти косы будут активными. Много кос покупают дачники, чтобы содержать в порядке свой дачный участок.

Сокращение сенокосов происходило и по другой причине (кроме убыли косцов), а именно: по запущенности луговых угодий и по их естественной порче. Цитированный нами П. Усынин пишет в той же статье: «Отчего так получается? Из-за крайней (крайней. — *В. С.*) запущенности, низкой продуктивности природных кормовых угодий. Отсутствия должного внимания и несоблюдения простейших (простейших. — *В. С.*) правил эксплуатации привело к тому, что большие площади естественных сенокосов и пастбищ заросли кустарником и мелкоколесьем, покрылись кочками и заболотились».

Кандидат сельскохозяйственных наук А. Дударь, со своей стороны, подтверждает это положение на примере лугов Северного Кавказа (статья «Лугу нужен технолог». — Правда, 1971, 25 января). «Степное разнотравье год от году редееет. Там, где некогда (когда некогда? — *В. С.*) луг давал до тонны превосходного сена с гектара, теперь получают 2-3 центнера.

Парадоксальное явление — у лугов, этих бесценных кормовых угодий, нет хозяина. Во многих колхозах и совхозах специалисты имеют весьма приблизительное представление о состоянии лугов и пастбищ, не знают (забыли, что ли? — *В. С.* их потенциальные возможности. За редким исключением в хозяйствах, располагающих большими площадями естественных

угодий, нет даже плана использования этих богатств, не разработана простейшая (опять — простейшая! — В. С.) технология ухода за ними.

Улучшением лугов надо заниматься грамотно. Иначе это вызовет порчу угодий, которые потом приходится исключать из дальнейшей эксплуатации. Пример такого «улучшения» — распашка легких почв на зимних пастбищах «Черные земли», которая привела к сильной ветровой эрозии. Пески из Прикаспия двинулись в глубь калмыцких степей. Только продолжительный отдых и интенсивное залужение пашни многолетними травами способно возродить пастбища».

В приведенном отрывке А. Дударь коснулся и другого, наверно, все-таки главного вопроса — урожайности луговых угодий.

В министерстве я спросил специалиста: какой урожай травы на лугу он считал бы если не оптимальным, то желательным? Работник министерства подумал, подумал и сказал: «Семьдесят центнеров зеленой массы с гектара — это было бы хорошо».

Для людей, слышавших о зеленой массе впервые, поясню, что урожай травы исчисляют тройко. Можно свешать траву как таковую, и это будет зеленая масса. Можно траву сначала высушить, превратить в сено, и тогда цифра будет другая, а именно: из пяти килограммов травы получается один килограмм сена. А еще иногда исчисляют урожай в условных кормовых единицах. За одну кормовую единицу принята питательность одного килограмма овса. Тогда получается, что трава лесная содержит 0,17 кормовой единицы, то есть 100 граммов такой травы заменяют 17 граммов овса. Килограмм травы заменяет 170 граммов овса. И таким образом, чтобы полностью заменить один килограмм овса, нужно взять травы лесной 5900 граммов, почти 6 килограммов.

Сено, оказывается, питательнее свежей травы. Так, например, одну кормовую единицу содержат: лугового сена 2,4 килограмма, заливного — 2,1 килограмма, степного — 1,9 килограмма.

Один килограмм овса заменяет: картошки — 3,3 килограмма, моркови — 7,7 килограмма, свеклы сахарной — 3,8 килограмма, турнепса и кормового арбуза — 11 килограммов, кабачков — 14,2 килограмма.

Изучение подобных таблиц дело не только интересное, но и полезное. Так, дойдя в таблице до разных соломы, я понял все значение так называемых средних цифр и условных эквивалентов, которыми очень часто питается статистика. Оказывается, килограмм пшеничной соломы содержит 0,20 кормовой единицы и, таким образом, питательнее и ценнее как корм почти всех свежих, только что скошенных и еще обрызганных росой сочных, напичканных всевозможными фитонцидами, витаминами, эфирными маслами, глюкозидами, алкалоидами, хлорофиллами, ферментами и нектарами трав. Питательнее моркови, кормовой свеклы, тыквы, более чем в два раза питательнее кормовой капусты, вико-овсяной смеси, люцерны, эспарцета, равноценна клеверу красному и кукурузе. Вот что такое обыкновенная солома, с точки зрения кормовой единицы. Правда, можно догадаться, что кормовой арбуз, морковь, красный клевер и свекольную ботву корова будет уплетать с большей охотой, нежели ржаную солому, но зато, если вам надо написать отчет о заготовке кормов, то очень удобно этот счет выразить в условных кормовых единицах. Вот жаль только, что молоко должно быть не условным молоком, а натуральным, питательным и душистым.

О том, что молоко зависит от корма, напоминать, наверное, не надо. Но все же упомяну о двух случаях. Утрачено качество швейцарского сыра на его родине в Швейцарии оттого, что коров стали кормить

однообразными, унифицированными кормами, вместо горного швейцарского разнотравья. Ценность особого, знаменитого барабинского масла зависела, оказывается, не от рецепта его приготовления и не от породы скота, но от особого букета трав, обитающих в барабинской степи. О кормовых единицах тогда не имели никакого представления.

Можно кормить человека одним свиным салом (огромное количество калорий!), не давая ему ни ягодки, ни петрушечки, ни гриба, ни огурца, ни молока, ни хлеба, ни рыбы, ни редьки, ни мяса, ни капусты, ни яблока. Четверо наших ребят, оказавшихся в океане в бедственном положении, как известно, съели гармонь, которая тоже содержала, наверное, подобно соломе, какую-то часть кормовой единицы, а может быть, и целую кормовую единицу.

Я всегда вспоминаю об этих фактах, когда вижу, что луговое разнотравье постепенно подменяется травами сеяными, занимающими пахотные земли, то есть поля, где полагается расти хлебам: ржи, пшенице, ячменю, также гречихе, льну, гороху, а из кормовых культур тому самому овсу, который является кормовой единицей.

Какие же обстоятельства побуждают наших современных земледельцев занимать пахотные земли под травы, под зеленый корм? Несколько обстоятельств. Вот первое из них: укосная площадь сократилась в два раза. С тридцати миллионов гектаров до шестнадцати. Второе обстоятельство — чрезвычайно низкая урожайность наших лугов вследствие их запущенности и отсутствия, как мы недавно цитировали, простейшего ухода, простейших правил пользования.

Но улучшение лугов дело очень хлопотливое и трудоемкое. Надо срезать кочки, надо изводить кустарник, надо подсеивать нужные травы, надо

заводить дождевальные установки, надо организовывать, где это можно и нужно, лиманное поливание, которое, говорят, широко практиковалось в прежние времена, надо, наконец, удобрять.

Об уходе за лугами пишут немало. Для примера — несколько выписок.

«На XXIV съезде КПСС подчеркивалась необходимость всемерного укрепления кормовой базы, как одной из главных предпосылок дальнейшего ускорения развития животноводства... Огромный кормовой резерв — повышение продуктивности естественных лугов. Значительная часть угодий находится пока в запущенном состоянии, но планы залужений сенокосов и пастбищ выполняются далеко не везде».

«Близится пора сенокоса». (Передовая статья газеты «Правда», 1972, 11 мая)

«Получить дополнительные корма, наращивать их производство только на пашне — нельзя. Это может привести к сокращению посевов зерновых культур... Немедленно создать 1 150 000 гектаров высокопродуктивных лугов и пастбищ. Задача реальная, посильная, но она требует четкой организации дела, расторопности, высокой ответственности. Не все, к сожалению, готовы принять и выполнить эти требования... Во вторую весну пятилетки луговоды, все земледельцы Российской Федерации вступили с твердой решимостью достигнуть более высоких рубежей в кормопроизводстве. В этом помогает

им развернувшееся массовое соревнование в честь 50-летия Союза ССР».

«Наши луга и пастбища». (Передовая статья газеты «Советская Россия», 1972, 28 апреля)

«Не зная, в каком состоянии пастбища, нельзя приниматься за их исцеление... Как за эти годы изменился растительный клевер, каков нынешний состав трав — ясности нет. Было время, когда здесь родили и прорастали такие высокоценные кормовые растения, как житняк, прутняк, грубая люцерна, типчак и другие, и с каждого гектара собирали до сорока центнеров кормовой массы, а теперь выпасы оскудели, урожайности на многих участках снизились... Луга — огромный источник дешевых кормов, большой резерв для увеличения производства молока, мяса, шерсти».

«Лугу нужен технолог». А. Дударь, кандидат сельскохозяйственных наук, Ставропольский край (Правда, 1972, 25 января)

Из этих выписок картина, по-моему, проясняется. Урожай трав на обширнейших российских лугах чрезвычайно низок, а повышать его — дело хлопотное. Оно требует «четкой организации, расторопности, высокой ответственности». Но корма нужны, потому что надо выполнять план по мясу и молоку. Где же их взять? Очень просто — сеять траву на пашне, отняв эту пашню у зерновых культур, у хлеба. А где же взять хлеб? Об этом пусть заботится государство. Где-нибудь

да возьмет! Оказывается, из-за плохого состояния лугов одна третья часть пашни идет под травы.

«И что удивительно, — пишет П. Усынин в газете «Советская Россия», — даже в хозяйствах лесолуговой зоны, где хороши природные кормовые угодья, посевы кормовых трав стали, по сути дела, основным источником грубого и зеленого корма... В 1969 году под кормовыми культурами было занято в Вологодской области 54,5, Псковской — 48, Калининской — 37, Смоленской — 35 и Рязанской — 34 процента основных площадей. В то же время обеспечение скота кормами в зимовку 1969/70 года по хозяйствам этих областей не превышает 60–80 процентов потребности».

Теперь назовем еще одну цифру. Всего под кормовые культуры в РСФСР занято 36 миллионов гектаров пашни. Встречные перевозки.

Не будем уж говорить о побочных результатах такой перевозки, как-то: эрозия распаханых почв в местностях с сильными ветрами, нарушение биологического равновесия на грандиозном участке планеты, огромное количество перемолотой техники... Нет, в эти проблемы мы вдаваться не будем. И так уж мы увлеклись и далеко отошли от главного и скромного предмета нашей книги — от травы, которая называется, как видим, то травой-муравой, то верблюжьей колючкой, то ночной фиалкой, то бурьяном, то незабудкой, то крапивой, то колокольчиком, а то ковылем, то — по-обиходному — цветами, а то — по-агрономически — разнотравьем, а то — по справедливости — чудом, то — по-производственному — зеленой массой.

* * *

Трава — сено, трава — цветы, трава-мурава, трава-красота, трава-пища, трава-одежда, трава-строительный материал, разрыв-трава, плакун-трава, трын-трава, трава — необъемлемая часть природы, трава-загадка природы, трава-жизнь... Какие-нибудь и еще можно назвать грани у такого понятия, как трава. И все же, когда я говорил, что собираюсь написать о траве, то в первую очередь переспрашивали: «Как, собираешься писать о целебных травах? Как интересно! Между прочим, есть в Вологодской области одна старуха...»

Даже ведь и Борахвостов, посылая мне свои записочки, нажимал на лечебные свойства, на пользование травами, на исцеление, на заговоры. Так уж получилось, что с понятием о травах связано у людей понятие о их лекарственности, целебности и едва ли не магической могущественности.

В исследованиях о травомедицине (на современном языке она называется фитотерапией) то и дело наталкиваешься на стремление выяснить или, по крайней мере, задаться вопросом, как далеко, в какую седую древность восходит траволечение, и узнаешь, что еще в Древнем Египте, что еще в Древней Греции, что еще в Вавилоне и во времена шумерской культуры... Но, по-моему, на этот вопрос есть и другой, более однозначный ответ. Человек, с тех пор как он существует на земле, знает, что трава бывает полезная и вредная, ядовитая и целебная. Человек начинал с того, что питался травой (плодами, листьями, корешками), все вокруг себя он перебрал и перепробовал на зуб, так ему ли не знать, от которой травы живот болит, а от которой проходит.

Впрочем, ничего не хочу упрощать. Травы, то холодея под росами, то разогреваясь на солнце, колеблемые ветром и омываемые дождем, поблескивающие под луной и хрустящие от мороза,

травы, вступающие в общение со всеми без исключения химическими элементами, сущими на земле, а сверх того со светом, с космическими излучениями и друг с другом, воспроизводят в своих бесчисленных лабораториях такое количество сложнейших химических соединений, что и до сих пор на уровне современной химии и медицины эти соединения изучены очень мало. То и дело читаешь в современных травниках про какую-нибудь траву, растущую у нас под ногами: «химический состав не изучен». На что уж сирень, которой полны палисадники, которая — рубль большой букет, которая красуется в кувшинах на каждой дачной веранде, и то читаем о ней в книге Н. Г. Ковалевой «Лечение растениями» (1971): «Растение мало изучено. В цветах найдены эфирное масло, феногликозид, сирингин, сирингопиккрин, фарнезол, в корне и листьях — горький гликозид сирингин».

Не думаю, что с самых первых шагов человек, хотя он и был ближе к природе, чем мы с вами, разбирался лучше нас в феногликозидах и фарнезолах. Дело шло, по-видимому, на уровне прикладывания подорожника к нарыву или на уровне черемуховых ягод при расстройстве желудка. Или как олени поедают маралий корень во время гона, дабы вернее и полноценнее исполнить закон продления вида, или как заболевшая кошка ищет и ест нужную ей траву.

Были на земле люди, были и человеческие болезни. Но не было на земном шаре ни одной таблетки, ни одного шприца, ни одной ампулы. Были одни только травы.

Закон состоит в том, что если есть «да», то, значит, есть и «нет». На всякий яд должно быть противоядие, потому что организм природы един. Это еще в древних Ведах записано, что «действительно едино, наши мудрецы дают ему различные названия».

Швейцарец (медик и химик) Парацельс, живший в XV–XVI веках, прямо считал, что если природа произвела болезнь, значит, она произвела и средство против нее, причем искать это средство надо здесь же, поблизости от больного. Парацельс был против иноземных лекарственных трав. Это-то уж, наверное, слишком, но можно согласиться со средневековым швейцарским ученым: от каждой болезни, как бы она ни была страшна, в природе есть верное средство. Надо только его найти или в чистом виде, или путем комбинирования различных средств.

На что агрессивен, вернее, неприступен чеснок! Он убивает вокруг себя все возможные и сущие на земле бациллы и бактерии. Ведь что такое эта головка чеснока для бактерий? Неприступная, несокрушимая крепость. Даже и не крепость, а некий излучающий центр, который убивает на расстоянии. Нельзя не только нанести ему урон, но и приблизиться к нему. Летучие вещества — фитонциды, как это нам понятно теперь, убивают все живое вокруг, как нас убили бы неведомые лучи, исходящие от неведомой звезды, если бы мы захотели к ней приблизиться, или как нас убило бы солнце при попытке приблизиться к его поверхности.

Но, однако, нашлась одна бактерия, которая все же пожирает чеснок. Это чесночница, превращающая крепкую, сочную, смертоносную, неприступную и несокрушимую головку чеснока в мелкую сероватую сухую пыль. Крепость побеждена и рухнула. Она превратилась в порошок. На категорическое «да» нашлось категорическое «нет».

Итак, был человек со своими болезнями и были травы, таинственно заключающие в себе лекарства от этих болезней. И было это равноценно тому, как если бы оказались друг перед другом гениальная книга и существо, не умеющее читать.

Как начиналось освоение книги, как оно шло, мы не знаем в подробностях и в последовательности. Мы не знаем и того, в какой степени освоена нами эта книга теперь. То ли мы еще учимся читать и разбираем по складам некоторые слова, то ли уже проступают для нас из прочитанного некоторые явления и факты. Так дикарь стал бы осваивать письма Толстого. Написано: дуб, гостиная, Наташа Ростова, оружие, выстрел, смерть, любовь, Наполеон, Москва...

Но ведь должна еще наступить та стадия, когда начнут пониматься не только отдельные слова, не только сами явления, вычитанные в тексте, но и связь между этими явлениями. Сначала внешняя сюжетная связь, а потом все более глубокие, сокровенные связи. А потом уж прояснится и философия Льва Толстого.

Как бы там ни было, сначала между человеком и травами, между болезнью и лекарством не стояло никаких посредников. Ни больниц с многочисленным персоналом, ни огромных фармакологических комбинатов. Я не говорю, что это было лучше, я просто говорю, что так было. Человек находил и рвал траву, как собаки и кошки, заболев, убегают и находят для себя какие-то травы. Я много раз видел, как они их едят.

Но правы Ильф и Петров, говоря, что если в стране обращаются какие-либо денежные знаки, значит, непременно есть люди, у которых этих знаков накоплено много. Точно так же и с травами: если появились у людей крупницы знаний, драгоценные, воистину золотые крупницы, значит, постепенно нашлись люди, которые насобирали много этих крупниц. Могло получиться и так, что при стихийном распределении обязанностей (охотник, специалист по каменным топорам, хранитель огня) некоторые люди сделались исключительными носителями этих знаний. Они распоряжались ими при жизни, они могли

распорядиться ими на будущее, то есть передать другому человеку по своему выбору или не передать, а унести с собой, в могилу. Они могли называться жрецами, мудрецами, колдунами, ведунами, ведьмами, чаровницами, знахарями... Но они были у всех народов и во все времена. Более того, официальная медицина всех времен, если, конечно, можно так выразиться, всегда опиралась на опыт, накопленный по крупицам. Несколько фраз из предисловия Н. Г. Ковалевой к ее же книге «Лечение растениями».

«Лечение целебными травами всегда привлекало к себе внимание человека...

Знакомство человека с их лечебными свойствами относится к глубокой древности...

Первые записи о лекарственных растениях встретились в наиболее древнем из известных нам письменных памятников, принадлежавших шумерийцам, жившим в Азии на территории нынешнего Ирана за 6000 лет до н. э....

Лекари Шумера из стеблей и корней растений изготавливали порошки и настои...

Вавилоняне, пришедшие на смену шумерийцам в XI веке до н. э., а затем ассирийцы широко использовали растения в лечебных целях...

Вавилоняне применяли сотни лекарственных растений...

Вавилоняне уже тогда заметили, что солнечный свет вредно действует на лечебные свойства собранных растений, поэтому высушивали их в тени, что рекомендуется и современными руководствами по сбору и сушке лекарственных растений...

Источниками сведений о фитотерапии в Египте служат изображения лекарственных растений и иероглифы на стенах храмов, саркофагах и пирамидах. При раскопках захоронений египтян находят остатки сохранившихся до наших дней растений...

Опыт египтян в лечении растениями внимательно изучали врачи Древней Греции, в медицине которой часто использовались растения...

Первое дошедшее до нас обстоятельное сочинение о лекарственных растениях, в котором приведено научное обоснование их применения, принадлежит... Гиппократу. В нем он описал 236 лекарственных растений, которые применялись тогда в медицине... (Он) считал, что лекарственные вещества содержатся в природе в оптимальном виде и что лекарственные растения в необработанном виде или в виде соков оказывают лучшее действие на человеческий организм...

В Древнем Риме медицина развивалась под сильным влиянием греческой. В народной медицине римлян... широко использовались дикорастущие, а позднее и сельскохозяйственные растения...

Лечение растениями широко применялось и в странах Восточной Азии: в Китае, Индии, Японии, Корее...

Первая китайская книга о лекарственных растениях, в которой приведены описания 900 видов растений, датирована 2500 г. до н. э....

Известный фармаколог, живший в VI веке, Ли Ши-чжень... в 52-х томах своего произведения описал 1892 лекарственных средства, главным образом растительного происхождения...

Издавна использовались растения для лечения и в Индии...

На Цейлоне большой популярностью пользуются врачи народной медицины...

В Монголии, которая располагает богатой флорой... Тибетская медицина возникла примерно за 3000 лет до н. э. ...

Данные о народной медицине Африки...

В Болгарии произрастает свыше 3000 видов растений, из которых около 500 применяется...

В аптеках Польши всегда большой ассортимент галеновых препаратов...

Французская народная медицина накопила большой интересный и полезный опыт...

Издавна применялось лечение растениями и в Англии...

В Италии, Австрии, Голландии...

В странах Южной Америки...

В Центральной Америке, Австралии...»

Одна из самых ранних славянских травниц называлась прекрасным именем — Добродея. Речь идет о внучке Владимира Мономаха Евпраксии Мстиславовне. Читаем в заметочке в популярном журнале: «С детских лет Евпраксия проявляла интерес к народной медицине, изучала свойства трав, умела готовить лекарства из них. Среди ее пациентов были люди знатные и крестьяне. Очевидно, Евпраксия им успешно помогала, летописи сообщают, что ее прозвали Добродеей».

Но позвольте, что значит: «с детских лет проявляла интерес... изучала...»? Ни с того ни с сего начать наугад рвать то эту траву, то эту и наугад давать разные травы больным людям? Проще предположить, что в детстве кто-то передал ей золотые крупицы знаний, о которых мы говорили, а вместе со знаниями заронили интерес, привили любовь. В лесную избушку на берегу Днепра бегала княжеская дочка к какой-нибудь знахарке (от слова «знание», «знать»), на княжеском ли дворе какая-нибудь нянька оказалась носительницей редкостных знаний и выбрала смышленную княгинюшку как наследницу, монашка ли в киевском монастыре, известный ли официальный врач Руси, грек Моанн Смер, выписанный из Царьграда дедом Добродеей Владимиром Мономахом, успел благословить и напутствовать... Но скорее, лечение травами было тогда более

обыкновенным делом, чем нам теперь представляется. Вероятно, существовала определенная медицинская культура, и оставалось только вобрать ее, обобщить накопленный опыт. На пустом месте Добродее возникнуть не могла. Читаем в заметке дальнейшие сведения о ней.

«Евпраксию рано просватали за византийского царевича Алексея Комнина, и, когда ей исполнилось 15 лет (значит, допятнадцатилетняя девчонка врачевала знатных и крестьян! — *В. С.*), она со свадебным поездом отправилась в Царьград. Здесь по обычаю страны ей дали новое имя Зоя. Овладев греческим языком, она серьезно занимается изучением трудов знаменитых греческих медиков Галена, Гиппократы, беседует с учеными-современниками.

Здесь в Византии Евпраксия и написала свой научный труд — единственный сохранившийся древнерусский лечебник.

Написанный на греческом языке, он в значительной степени основан на опыте народной медицины Древней Руси.

Сочинение Евпраксии состоит из пяти частей. Первая содержит общие сведения о гигиене, рассматривает влияние времен года и разных климатических условий на организм. Отдельные главы повествуют о движении и покое, о сне и пробуждении, о пользе бани, «которая очень предохраняет здоровье и укрепляет тело».

Следующую часть можно было бы назвать гигиеной матери и ребенка. Затем Евпраксия пишет о разумном подходе к питанию. Две последние части посвящены внутренним и наружным болезням.

В конце прошлого столетия русский историк Х. М. Лопарев нашел это сочинение в Италии, во Флорентийской библиотеке Лоренцо Медичи и установил, что автором труда является наша

Мстиславна. Он пишет: «Трактат Зои имел для своего времени важное значение, это доказывает факт пользования им со стороны греческих медиков, которые ставили Зою рядом с другими врачебными знаменитостями». **(Григорьева Н. Киевская Добродея. — Работница, 1967, № 7).**

Можно найти где-нибудь и вычитать, сколько лекарственных трав использовала в прошлом народная медицина Грузии (372 травы), как обстояло дело с народной медициной в Армении, какого мнения был о целебных травах Авиценна, и заодно узнать, что в Риге уже в 1291 году существовали две аптеки, торговавшие травами.

Я думаю, если поинтересоваться уже не из книг, а у живых людей, наверное, мы узнаем, что лечились травами и ненцы-оленоводы, и манси, и эвенки, и тунгусы, и алеуты, и каждый народ, живущий среди трав и деревьев.

Нельзя сказать, что современная, сверкающая хромированной аппаратурой и ослепляющая белизной халатов медицина вовсе отрекается от трав и растений. Да и как бы она отреклась, если большая часть ее средств идет от растений. Хина — это кора дерева, опий — это мак. Атропин, сердечные средства из наперстянки, анис, мята и ландыш, не говоря уже о валериане, даже и пенициллин — плохо было бы без всех этих средств современной медицине.

Не напрасно один очень крупный современный медик воскликнул, что он отказался бы быть врачом, если бы не было наперстянки!

Вытяжки, экстракты, настойки, соки, сиропы, все эти витаминные и лекарственные шарики доступны каждому человеку, стоит ему только зайти в аптеку.

Почти в каждой аптеке, существует отдел, где торгуют травами. Тмин, зверобой, мята, анис, полынь, крапива, кустарник можжевельная ягода, медвежье

ушко (толокнянка), подорожник, березовые почки, липовый цвет, тысячелистник, кукурузные рыльца, шалфей, бессмертник, ромашка, девясил, шиповник, кора крушины, мать-мачеха обыкновенны и повседневы в любой аптеке. Конечно, не всегда могут оказаться там корень валерианы, аир и калган, золотой корень или салеп, но, скажите, с чем только не может быть временных перебоев! Я хочу сказать, что в целом торговля травами налажена хорошо.

Есть ботанические сады, где изучают и возделывают целебные травы. Есть многочисленные кафедры при крупнейших университетах, где тоже занимаются травами, есть Академия наук СССР, есть Академия медицинских наук СССР, есть академии наук в союзных республиках, есть фармацевтические институты, есть Центральный аптечный научно-исследовательский институт, есть, наконец, ВИЛАР

— Всесоюзный институт лекарственных растений, который только и занимается целебными травами, рассылает экспедиции в разные концы страны, выращивает сотни и тысячи растений, исследует, рекомендует, внедряет. Есть, наконец, многочисленные издания — замечательные книги о лекарственных растениях, доступные каждому человеку в СССР...

И вот, оказывается, вместе со всем этим есть, встречаются, существуют знахари и знахарки. Мне это показалось столь забавным, что я стал искать случая непременно познакомиться хоть с одним, хоть с одной из них.

В самом деле, когда не было книг, выходящих сотысячными тиражами, когда не было в каждом селе медпункта, когда знания могли передаваться только устно от одного человека к другому и копилка знаний вовсе не представляла из себя книги в ширпотребовском картонном переплете или хотя бы рукописного травника, существующего в единственном

экземпляре, тогда можно было представить себе эту копилку... У меня лично понятие о знахарях, о травниках и травницах связывалось с замшелой избушкой где-нибудь в дремучем лесу или избой в деревне (обязательно на краю деревни), наполовину ушедшей в землю. И встретит согбенная старушка или старичок-лесовичок, и полезет старуха на полку, за божницу или покопается в старом сундуке, достанет кусочек сухой травы. Поколдует над ним, дунет, плюнет, а потом уже даст в руки и расскажет, как пользоваться.

Никогда не приходилось встречаться с знахарями, а литература, кино, вообще искусство создали такое вот идиллистическое представление о них.

Вспомним знаменитое полотно Михаила Васильевича Нестерова. Изображен лес. Землянка в лесу. Вокруг цветущие летние травы. Русская женщина, молодая и красивая, присела около землянки на лавочке, а из землянки выползает дед с пронзительно синими глазами. Пан, Дух природы. Колдун, ведун, знахарь. Женщина исполнена решимости, но одновременно сквозят в ней смущение и надежда. Называется картина «За приворотным зельем». Таинственно и красиво. Разве трудно дорисовать теперь внутренность старикова жилища, пучки трав, свисающие там и тут, мешочки с травами? Велика ли может быть такая землянка, просторно ли в ней? Каков размах знахарского дела? Гадать об этом не надо. Старик выходит из своего жилища, пригибаясь. Низкий потолок, и свету в землянке мало. Старик знает свое дело и дает щепотку приворотного зелья (сухой травы, корешков) или пузырек — настойку в готовом виде.

Существует еще и такой литературный образ собирателя трав. Раскрываю том Алексея Константиновича Толстого:

Пантелей-государь ходит по полю,
И цветов и травы ему по пояс.
И все травы пред ним расступаются,
И цветы все ему поклоняются.
И он знает их силы сокрытые,
Все благие и все ядовитые,
И всем добрым он травам, безвредным,
Отвечает поклоном приветным,
А которые растут виноватые,
Тем он палкой грозит суковатою.

По листочку с благих собирает он,
И мешок ими свой наполняет он,
И на хворую братию бедную
Из них зелие варит целебное.
Государь Пантелей!
Ты и нас пожалей,
Свой чудесный елей
В наши раны излей.
В наши многие раны сердечные;
Есть меж нами душою увечные,
Есть и разумом тяжко болящие,
Есть глухие, немые, незрящие,
Опоенные злыми отравами, —
Помоги им своими ты травами!..

Вот я и говорю: ну какой можно было представить себе размах знахарского дела, если он ходит по полю, срывает по листочку и кладет в мешок? Пусть хоть и осьминный мешок (что маловероятно, исходя из нарисованного поэтом образа, легче вообразить небольшую суму через плечо), все равно, много ли натолкаешь травы в мешок?

Я никак не мог освободиться от этих масштабов, когда один молодой журналист (не буду говорить, где,

около какого большого города) повез меня к настоящей будто бы знахарке, с которой будто бы он, Сергей, хорошо знаком. Воображались мне избушка, землянка, сума через плечо, старуха с клюкой, с носом, растающим в подбородок, и седыми космами, но не вязалось с воображаемыми картинками уже одно то, что ехали к знахарке на такси.

— Отшельница? Хижина? — пытался расспрашивать я. Но чем больше Сергей рассказывал о Митрофанихе (фамилия ее, допустим, Митрофанова), тем настойчивее внедрялось в мое сознание слово «усадыба».

— Странно, что к знахарке на такси, не так ли?

— Что тут странного? Она и сама в летнее горячее время, когда для сбора трав дорог каждый день, нанимает такси.

— ???

— Ну да. Заключает договор с таксомоторным парком на все лето. Утром ежедневно ей присылают машину.

— Но ведь это же...

— Насчет денег, что ли? Тридцать рублей в день, — и спокойно добавил, как о незаслуживающем внимания: — Деньги у нее есть.

О нестеровский старичок, вылезавший из темной землянки, о государь Пантелей, обрывающий по листику и кладущий оные листики в суму: снился ли вам подобный размах? Небось такси не простаивает, ежели тридцатка-то в день. Надо, наверно, эту тридцатку на худой конец оправдать. И еще один мотив: техника двадцатого века на службе у знахарки! И ехали мы отнюдь не в лесные дебри, а в благоустроенный поселок поблизости большого города.

— Вы-то как с ней познакомились?

— Немного интересуюсь травами. Но, конечно, не на уровне лечения, хотя бы самого себя, а на уровне составления домашних бальзамов.

— Сколько же вы берете трав?

— До сорока. Зверобой, аир, калган, кровохлебка, пустырник, мята, полынь, девясил, тмин, душица... Надо на каждой из сорока трав сделать спиртовой экстракт, а потом смешивать их в нужных пропорциях и разбавлять до желаемой крепости. Или в чай по одной ложке...

— Бог с вами! Такое добро — и в чай? Я тоже составляю себе бальзамы и тоже до сорока составных частей. Впрочем, можно и восемьдесят... Значит, только бальзамы и послужили причиной знакомства с этой, как ее, Митрофанией?

— Не только. Однажды попробовали ее судить за то, что занимается лечебной практикой, не имея медицинского образования и диплома. Суд привлек внимание прессы, а я — журналист.

— Умер, что ли, кто-нибудь от ее трав?

— От трав, если, конечно, не брать явно ядовитых, умереть невозможно. Пользы может не быть, но и вреда не будет. Пей мяту, крапиву, шалфей, подорожник — ну какой от них вред?

— Осудили?

— Не удалось. Свидетелей человек восемьдесят вызвали в суд. Но поскольку и правда никакого вреда они от бабки не получили, то наговаривать на нее не стали. Однако врачебной деятельностью заниматься ей запретили, и состоялось сожжение трав.

— Вот сюжет для живописного полотна!

— Но травы разве виноваты?

— Я все понимаю, но поймите и закон. Действительно, не имея медицинского образования и диплома, заниматься врачебной практикой... Если каждый начнет...

— Вы можете мне дать какой-нибудь совет? Ну хотя бы по составу бальзамов? Или по диете, если я случайно пожалуюсь вам на печень? Сразу скажете: не ешьте три

«ж» — жир, желток, жареное. Не так ли? Может быть, это тоже медицинский совет? И как же, не имея диплома...

— Разные вещи. Во-первых, это советование я никогда не сделаю своей профессией, главным делом жизни. Во-вторых, я за этот совет не возьму с вас пятерку.

Между тем мы подъехали. Глухой забор. Тесовые ворота и рядом калитка. Большая кнопка электрического звонка. Усадьба. Эту кнопку и нажимают все, кто захотел бы обратиться к Митрофанихе, к бабе Соне. Но я, пожалуй, буду называть ее просто Софьей Павловной.

Нам открыла другая женщина, молодая, никак не подходящая по возрасту на роль хозяйки такой усадьбы. Видел я потом на усадьбе и еще женщин, можно сказать — целый штат. Будто бы бывшие пациентки из благодарности приходят и помогают. Приходится верить. Но без этих вспомогательных женщин нельзя было бы понять, как одинокая, на восьмом десятке Софья Павловна управляется с заготовкой, сушкой и сортировкой трав, упаковкой их в ящики, как она успевает отправлять многочисленные посылки с травой в разные концы страны, как ведет обширную (любой министр позавидует) переписку.

Пройдя в калитку, мы оказались во дворе, который был бы чрезвычайно широким и просторным, если бы справа не стояло двух сараев. Левее — сам дом. Крыльцо. На крыльце Софья Павловна, полноватая, розоволицая, синеглазая старуха — платок на плечах, руки на животе, приветливая улыбка на губах. А в глубине глаз все же и вопрос: кто такие, зачем пожаловали? Но при виде Сережи тревога в глазах погасла.

Свои немногие впечатления (мы провели у Софьи Павловны полдня) я сейчас разгруппирую, чтобы дать

понятие о каждой группе.

Сад и огород. Шел дождь, под ногами на тропинках было склизко и грязно. Трава и кусты обдавали водой, поэтому с садом и огородом мы ознакомились очень бегло. Больших деревьев я как-то не запомнил. Но есть там кусты малины, смородины, есть и вишенье. По сторонам тропинок растут разные травы, которые в другом саду можно было бы считать за сорняки, за запущенность огорода, но которые здесь росли со смыслом, были посеяны хозяйкой. На грядках я видел и ландыши, и любку двулистную, и наперстянку, но, конечно, не огород является главным поставщиком сырья для Софьи Павловны.

Сараи. На чердаки обоих сараев мы забирались по обыкновенным приставным крестьянским лестницам. Чердаки завешаны и заложены сушащимися травами. Заготовка их поставлена на широкую ногу. Я думаю, если бы сложить все травы вместе, получилось бы несколько центнеров. Много пижмы, тысячелистника, зверобоя, болиголова, пустырника, ромашки, мяты, таволги, тмина, укропа, кровохлебки, крапивы, чистотела, кипрея, дягиля, васильков.

При всем том на чердаках, где развешаны и разложены десятки трав, чистота и порядок. Смешанный аромат трав вдыхаешь жадно, ненасытно, даже крикаешь от удовольствия, словно пьешь очень вкусный и вместе с тем крепкий напиток.

На земле перед лестницей нас заставили разуться, да и правда, было бы кощунством ходить по такому чердаку в уличных башмаках.

Склады. Высушенные травы Софья Павловна хранит в больших картонных коробках, которые берет в продовольственных магазинах. Там они освобождаются из-под разного импортного товара. Картонными коробками заставлены коридоры в доме, терраса, чуланы, сени — все, кроме трех жилых комнат. На

каждой коробке сделана четкая надпись: аир, подорожник, одуванчик, валериана.

Комнаты. Чистые, опрятные комнаты: одна — вроде горницы, другая — кухня. И в той и в другой есть иконы. Некоторые в хороших окладах. Подарки. Большую комнату мы обошли и осмотрели, а в маленькой сели за стол. Есть, кажется, еще и спальня, но мы туда не ходили.

Стол. Всевозможная деликатесная рыба. Пелядь (сырок), муксун, стерлядь-сыроежка, сосвинская селедка, осетрина, икра черная и красная, коньяки лучших сортов, разнообразные кагоры и собственные настойки и наливки, которые только и пригубливает из рюмочки сама хозяйка.

— Присылают. Не выбрасывать же! — коротко пояснила нам хозяйка ассортимент стола.

Теперь главная группа впечатлений. В разговоре я убедился, что у Софьи Павловны есть пусть и своеобразное, но медицинское мышление. Речь зашла о больном с раковой опухолью, который четвертый год уж пьет лекарственные сборы Софьи Павловны.

— Что же, надеетесь?

— Так ведь рак! Не бог же я! Однако четыре года если не лучше, то и не хуже.

— У моего знакомого в Москве есть подозрение на опухоль, чтобы ему помочь, чем укрепить организм?

— Организм! Организм укрепишь, а опухоль куда денешь? Организму лучше — и опухоли лучше.

— С какими больными чаще приходится иметь дело?

— Да ведь время-то какое? На месте не посидят. Все куда-то едут, торопятся, суетятся, опаздывают. На все нужны нервы. А где нервы, там и болезнь. Думают, язва от еды, а она от нервов. И сердца никудышные от того же, и желчь, и камни. — Софья Павловна задумалась. — Мужчин много обращается. Плачут. В семье ведь как?

Всякое может быть, ругань и опять мир после ругани. А уж если этого самого нет, мирись, не мирись...

— Отчего такое поветрие?

— Те же нервы, я думаю. И потом — винище. Пьют без памяти, а хотят здоровыми и крепкими быть.

— Помогаете?

— Отчего же не помочь! Вот на днях ящик коньяку один привез. Дочь родилась. А хотел вешаться...

Вообще же складывалась следующая картина ее деятельности. Первый бесспорный факт. Люди обращаются к ней уже с готовым диагнозом, найдя ее по сельским, районным, а то и городским поликлиникам. Обращаются, прослышав о ней и рассуждая очень просто: вреда не будет, а может быть... Так что определять болезнь, исследовать организм, делать многочисленные и сложные анализы (кровь, моча, кислотность желудочного сока, бронхоскопия, рентген, электрокардиограмма, реакция «аперке» или «манту») — все это уже сделала за нее официальная медицина с ее современным оборудованием. В некотором смысле можно сказать, что современная знахарка невольно паразитирует на теле официальной медицины.

Во-первых, повторим: диагноз известен заранее. Но, во-вторых, известны заранее из многих книг и целебные свойства трав. В этих книгах все травы разложены по полочкам. Вот они, эти полочки.

1. Тонизирующие, возбуждающие и общеукрепляющие (перечислено 80 трав).

2. Успокаивающие — 105 трав.

3. Применяемые при бессоннице — 47 трав.

4. Болеутоляющие — 218 трав.

5. Применяемые при головной боли — 63 травы.

6. Противосудорожные и противоспазматические — 88 трав.

7. Отвлекающие (средства рефлекторного действия — 12 трав.

8. Применяемые при нервных и психических заболеваниях — 152 травы.

9. Сердечно-сосудистые — 94 травы.

10. Применяемые при атеросклерозе — 82 травы.

11. Применяемые при гипертонии — 49 трав.

12. Повышающие кровяное давление — 117 трав.

13. Применяемые при удушье и одышке — 45 трав.

14. Желудочно-кишечные. Возбуждающие аппетит и улучшающие пищеварение — 80 трав.

15. Слабительные — 146 трав.

16. Рвотные — 16 трав.

17. Противорвотные — 24 травы.

18. Применяемые при язвенной болезни — 41 трава.

19. Применяемые при различных желудочно-кишечных заболеваниях — 153 травы.

20. Вяжущие — 149 трав.

21. Мочегонные — 242 травы.

22. Потогонные — 100 трав.

23. Уменьшающие выделение пота — 11 трав.

В таком же духе перечисляются еще многие и многие травы, как-то: применяемые при водянке и отеках, желчегонные, действующие на обмен веществ, кроветворные, кровоостанавливающие, жаропонижающие, молокогонные, противоглистные, применяемые при ревматизме и подагре, укрепляющие волосы... вплоть до отпугивающих насекомых, мышей и крыс.

В каждом разделе мы видим десятки и даже сотни рекомендуемых трав. Вопрос с травами настолько ясен, что обычно в южных городах (например, в Кисловодске) на базаре есть целые ряды травниц. Красиво засушенные, не перемолотые в труху, а цельными снопиками лежат тут тысячелистник, душица, чабрец, земляника, бессмертник. Грудками (на рубль) наложены

калганый корень, девясил, аир. Клубеньки ятрышника, высушенные на ниточке, идут по 3 рубля 50 копеек за десяток. Облепиховые ягоды — 40 копеек стакан. Но главное, на бумажках карандашом накорябано: «от давления», «от головной боли», «от геморроя», «от язвы желудка». Начинаешь спрашивать, как пользоваться, ответ один:

— Купите, тогда и расскажу.

Стоит истратить рубль, чтобы услышать наставления травниц. Но, вклинившись два раза в ее частоговорку и переспросив и поставив ее в тупик (а это сделать нетрудно), заставляешь ее протянуть руку под прилавок. Тебе протягивают все ту же книгу о лекарственных травах: Носаля, Махлаюка, Серегина с Соколовым...

Итак, известен диагноз, известно и действие трав. Что остается на долю знахарки? Выбрать несколько трав, соответствующих болезни, скомбинировать их, то есть составить то, что в государственных аптеках называется сборами (почечный сбор, желудочный сбор, желчегонный сбор и т. д.), вручить этот сбор больному и... получить деньги. Софья Павловна так и делает. Больше того, во многих случаях она действует заочно, не видя пациента в глаза. И даже не во многих, а в большинстве случаев. Больной присылает письмо, в котором подробно описывает свою болезнь. Так, как в поликлинике ему сказали. Баба Соня собирает травы и посылает их посылкой. Наложением платежом. Просто и хорошо. Сергей говорит, что очень часто баба Соня не берет денег заранее.

— Вот погоди, — говорит она, — если поможет моя трава, тогда и заплатишь. — И будто бы идут потом от благодарных пациентов ящики итальянского вермута, дорогие коньяки, красная рыба, икра, наличные деньги.

Думаю, что альтруизм (человеколюбие) не исключается из побуждающих мотивов Софьи

Павловны. Действительно, ей за семьдесят, два века не проживешь, на ее век, наверное, ей уже хватит. Можно было бы и приостановить бурную деятельность. Значит, помимо денег есть и другое — любовь к травам, быть может, а то и к людям. Но, с другой стороны, на чистом альтруизме нельзя было бы арендовать на летние месяцы ежедневно такси (тридцать рублей в день, девятьсот рублей в месяц) да еще содержать штат помощниц.

Тут к Софье Павловне пришел молодой мужчина за очередной, как выяснилось, порцией лекарства. Софья Павловна взяла из его рук большой мешок, который называется картофельным, и пошла ходить между своих картонных коробок. Остановившись, она взглядывала испытующе то на одну коробку, то на другую, словно прицеливалась или дожидалась наития, потом запускала руку, вынимала большую горсть травы и клала ее в мешок. Пригоршня (две-три пригоршни) служила ей мерой, вместо наивных аптекарских весов, миллиграммов и кубических миллиметров. Отсюда горсть и отсюда горсть. Отсюда. Теперь отсюда. Теперь этой добавить. И этой тоже... Парень ушел, унося на плечах мешок, набитый сушеными травами. Хватило бы корове два раза наесться.

Я посмотрел на Софью Павловну с новым любопытством. «Вреда не будет, — как бы сказал мне ее взгляд, — все травы проверены, вредных среди них нет!»

Еще раз пройдя по комнатам Софьи Павловны и осмотрев их, я увидел то, что непременно надеялся увидеть: стопу книг о лекарственных растениях.

Конечно, каждый врач, каждый, там, нейрохирург должен читать и читает книги по своей специальности, и в этом нет ничего странного, а тем более предосудительного. Напротив, было бы странно видеть

современного врача, не читающего книг по своей специальности.

Но, с другой стороны, если своя болезнь человеку заранее известна и если свойства трав изложены в книгах, то на чем же зиждется потребность людей обращаться к Софье Павловне и ей подобным? Платить втридорога неизвестно за что. И это при бесплатной-то медицине, при всем ее могуществе и всеобщем уважении к ней! Не действует ли здесь врожденное, инстинктивное или из поколения в поколение дошедшее до нас доверие к травам, подсознательная надежда на то, что природа не подведет, выручит и спасет, особенно когда говорят «нет, нет и нет». Доверие это обоснованно. На природу действительно можно положиться. В ней есть все, что нужно человеку для здоровья и жизни: и целебные вещества, и пример жизнестойкости, и красота.

* * *

В Главном ботаническом саду (в Москве) много сотрудников, много и телефонов. Я обзавелся номером одного из них, и это оказался телефон девушек-экскурсоводок в оранжерее. Трубку снимала то одна, то другая, и вскоре я стал различать девушек по голосам, по крайней мере двухэкскурсоводок — Галю и Любу — я узнавал сразу. Надоедал же я им одним и тем же вопросом: когда зацветает Виктория регия?

Вернее сказать, этот вопрос я задал при первом разговоре, при первом телефонном знакомстве, а потом они уже знали, зачем я звоню, и мне достаточно было спросить: «Ну как?»

Меня уверили, что события надо ждать не раньше конца июня, а то и в июле и что мне сразу же позвонят и вообще будут держать, что называется, в курсе.

Поэтому, когда я так, на всякий случай набрал нужный номер в последних числах мая (скорее для поддержания знакомства и чтобы меня не забыли) и услышал, что она вчера уже отцвела, то я воспринял это чуть ли не как предательство. Не со стороны Виктории регии, конечно, но со стороны девушек-экскурсоводок, обещавших предупредить меня о столь выдающемся событии.

Однако девушки, разочаровав меня, тут же и успокоили:

— Да вы не волнуйтесь. Это ведь отцвел только первый бутон. Теперь она будет цвести бутон за бутоном до сентября. Звоните, интересуйтесь...

Вот я и звонил и надоедал своим коротким вопросом: «Ну как?»

— Приезжайте, — наконец было сказано мне, — бутон уже начал раскрываться, сегодня вы все увидите.

— В котором часу?

— Да хоть сейчас. Чем скорее, тем лучше. Мы привыкли время дня расписывать по событиям и часам. Значит, так. В час дня мне надо быть в одной редакции. В половине первого я обещал заехать в книжный магазин. Сейчас половина одиннадцатого... как раз успеем заскочить в Ботанический сад, взглянуть на чудо из чудес, на Викторию регию, и мчаться дальше по лабиринтам и заранее расчерченным клеткам московского дня.

Тут привмешался еще дополнительный психологический момент. Такое событие, такое зрелище! Хочется кого-нибудь им угостить. Звоню одному приятелю (поэту), торопливо захлебываясь, сообщаю:

— Понимаешь, Виктория регия, чудо из чудес... Один раз в жизни надо же посмотреть... Царица... в белоснежных одеждах... Я сейчас еду, хочешь?

— В котором часу?

— Да сейчас же. Хватай такси и жми к входу в Ботанический сад. Знаешь, где башенки...

— Какие башенки?

— Ты что, никогда не бывал в Ботаническом саду?

— Не бывал. Какие башенки?

— Ладно, таксист найдет. Через тридцать минут встречаемся. А в половине первого и мне надо в другое место.

— Нет. Сейчас не могу, — вдруг вспомнил приятель. — Обещали запчасти. Амортизатор. Редчайший случай, никак нельзя упустить. Давай завтра.

— Завтра будет уже поздно.

— Жаль, но сейчас я не могу. Понимаешь... амортизатор. Умелец принесет на дом и сам же поставит. Не могу. Скорее звоню другому приятелю (редактору):

— Виктория регия... Чудо... Посмотреть хоть раз в жизни.

— Пожалуй, я смогу подскочить, а куда?

— Ботанический сад... Желтые башенки, знаешь?

— Знаю, но, по-моему, они не желтые, а белые. Хорошо, через тридцать минут буду. Не опаздывай. А то у меня в двенадцать часов летучка, а потом подписывать номер...

Так, между делами и хлопотами помчались мы с разных концов Москвы к белым (или какие они там) башенкам у входа в Главный ботанический сад, надеясь в порядке все той же московской суеты взглянуть на чудо, на царицу в белоснежных одеждах, вдохнуть на бегу ее аромат и мчаться дальше и говорить потом, что мы видели, как цветет Виктория регия.

День был жаркий, душный, и, уже выходя из машины, мой приятель вытирал платком виски, лоб и шею. Он был постарше меня и поплнее. Кроме того, гипертония. Кроме того, вчера вечером ему, как лицу

официальному, пришлось принимать иностранного гостя, и теперь он больше всего мечтал о бокале холодного какого-нибудь напитка.

А время начинало поджимать. Быстро через обширный розарий, насыщенный густым ароматом тысяч пышно цветущих роз, мы шли к так называемой Фондовой оранжерее Главного ботанического сада. В плотных розовых испарениях мой приятель почувствовал себя совсем плохо, но главное было впереди.

Как только нас провели в помещение собственно оранжереи, так и охватило нас влажное, душное тропическое тепло, по сравнению с которым летний московский день — сама прохлада и легкость. Пальмы и кактусы, кофейные деревья и какао, лианы и гигантские молочаи, орхидеи и рододендроны, бананы и бамбук, агавы и юкки — все это дышало, цвело, пахло в парной атмосфере искусственных тропиков, и я (не принимавший накануне иностранного гостя) понимал, что мой спутник здесь долго не выдержит.

Между тем мы вошли в помещение с бассейном, имитирующим уголок мелкой тропической заводи с антуражем из тропических же растений по берегам.

Такого потока парной воды, какой представляет собой Амазонка, нет больше на земном шаре. На двести пятьдесят километров в ширину расплескивается этот поток, прежде чем исчезнуть в необъятном (и парном же) Атлантическом океане. На протяжении тысяч километров Амазонка течет не в строгих берегах, но дробится на протоки и рукава, образует обширные заливы и заводи. Нетрудно догадаться, как прогревается вода в амазонских заводях, если они почти не текут, а глубина их меньше метра, по колено человеку, когда бы мог там оказаться человек и когда бы он рискнул встать на илистое дно в почти горячую воду, кишашую разными ядовитыми тварями. Надо

полагать, эти заводи обширны (в масштабах самой реки), иначе не водилась бы там (и только там) Виктория регия, один экземпляр которой в полном и пышном его развитии занимает водную поверхность в сотни квадратных метров.

Можно представить себе состояние немецкого путешественника и ботаника Генке, когда он в 1800 году, пробравшись на весельной лодке в глухие амазонские джунгли и выехав однажды из тенистой протоки, увидел вдруг первым из европейцев на широких просторах тихой заводи эту гигантскую лилию... «Силы небесные, что это?!»— будто бы закричал он.

Генке долго не мог уехать из чудесного тропического затона, не мог оторваться от созерцания царицы цветов, обнаруженной им, не мог покинуть ее. По пути же к людям, в обыденный человеческий мир с его городами и государствами, академиями и музеями, книгами и газетами, он погиб, ничем не раздробив в своей душе неправдоподобный и как бы даже приснившийся образ амазонской красавицы. Только его спутник испанский монах отец Лакуэва, разделивший с Генке созерцание сказочного цветка и уцелевший, добравшийся до людей, рассказал потом о виденном чуде.

Когда же девятнадцать лет спустя второй европеец, а именно француз Бонплан, увидел, стоя на высоком берегу, заводь с огромными цветами и листьями, он в безотчетном восхищении едва удержался от того, чтобы броситься в воду.

Еще через восемь лет француз же д'Орбиньи третьим из цивилизованного мира лицезрел царицу царц,^[7] причем заросли ее простирались на целые километры.

Ну, а у нас тут не обширная заводь, а бассейн, если мерить на квадратные метры, то метров, пожалуй, сорок, то есть, скажем, десять метров в длину и четыре в ширину. В тесной клетке сидит пленная царица под стеклянным потолком, в искусственно подогретой воде, а корнями — в кадке с землей, погруженной в воду.

— Ну вот смотрите нашу Викторию. К сожалению, бутон еще не раскрылся.

Да, Виктория не цвела.^[8] Ее бутон продолговатый, овальный, заостренный кверху, величиной, ну, скажем, с две ладони взрослого человека, если сложить их ладонь к ладони, а потом в середине между ними образовать пустоту, как бы для яблока; бутон этот, правда, слегка раздался, приоткрыв четыре щелочки (по числу зеленых чашелистиков), и уже показалось в этих щелочках нечто ярко-белое и словно шелковое, но до цветения было еще далеко.

— Да вы подождите, — ободряли нас девушки, — она ведь, если начнет раскрывать цветок, то быстро... Погуляй-те у нас, посмотрите на другие растения... Мы вас проводим, покажем. А она тем временем расцветет. Она, может быть, и сейчас бы уже цвела, но видите, погода нахмурилась, солнце скрылось за облаками, а она очень чувствительна...

Гулять и разглядывать другие растения нам было некогда. У него летучка, подписывать номер, а у меня... Я-то мог бы отменить свои дела, остаться и ждать до победного конца, но уж если приехали вместе... В душе я пожалел, что приехал не один.

— В другой раз, в другой раз.

— У вас маленьких никого нет?

— Как же нет? А Наташа! Шесть лет, седьмой.

— Так вы привозите ее, сфотографируем сидящей на листе Виктории. Получится очень красиво. Вы сами

фотографируете?! У вас есть фотоаппарат? Советуем. Такая возможность.

— Как это на листе? Я думал, что об этом только в книгах пишут.

— Что вы! Больше семидесяти килограммов выдерживает лист Виктории, плавая на воде. А девочка... Это же получится настоящая Дюймовочка!

...Наташу мы одели в нарядное голубое платье. Но этого было мало. Я терпеть не могу любительских фотографий. Из-за этого, собственно, я перестал заниматься фотографией, хотя начинал одно время, когда работал в «Огоньке», и даже сам иллюстрировал некоторые свои очерки. Я и до сих пор люблю фотографию, особенно черно-белую, хожу на выставки, листаю фотоальбомы, издающиеся в разных странах. Но я люблю фотографию именно как искусство и терпеть не могу любительских фотографий, где ни плана, ни кадра, ни освещения, ни композиции, не говоря уж о мысли. Потому и бросил, что надо либо заниматься всерьез, либо не заниматься совсем.

Между тем идея сфотографировать девочку на листе Виктории понравилась мне. Тогда я вспомнил свои огоньковские годы и всех фотомастеров этого журнала, с которыми приходилось вместе работать, и стал думать, кому бы позвонить. Замечательный пейзажист Борис Кузьмин... Великолепный мастер Тункель (путешествовали с ним по Албании и по Киргизии), Миша Савин... А вот что, позвоню-ка я, пожалуй, Галине Захаровне Санько. Не только потому, что месячная поездка в Заполярье как-то сдружила нас, а потому, что ведь ей принадлежит этот очаровательный снимок, обошедший тогда многие журналы и выставки: девушка в военной форме (гимнастерка, юбка, сапоги) сидит в лодке и держит на коленях букет белых водяных лилий. Вокруг лодки все те же лилии.

«Я как увидела, — рассказывала Галина Захаровна, — думаю, это то, что надо. Добавили лилий в букет, велела ей я юбочку подобрать немного повыше, чтобы коленочки показать, а коленочки у нее были — первый сорт, глазки попросила потупить...»

Эта знаменитая в свое время фотография (семь тысяч писем с просьбой прислать адрес девушки, главным образом от солдат) по прямой ассоциации, поскольку Виктория близкая, хотя и царственная родственница наших кувшинок, тотчас привела меня к воспоминанию о Галине Санько. Делом одной минуты было узнать ее телефон.

— Володечка, как это вы вспомнили обо мне? — слышался как будто не изменившийся, характерный, немного скрипучий голос Галины Захаровны. — Ведь не звонил двадцать пять лет...

— Да так уж вот, вспомнил. Между прочим, есть просьба...

— Я стала тяжела на подъем. Кроме того... В котором часу это будет? В двенадцать? Имейте в виду, что в половине второго мне надо опять быть дома. Ко мне придут.

— Я за вами заеду, и я же отвезу вас обратно. Вам не придется ни о чем беспокоиться. За время и транспорт отвечаю я.

— На таких условиях я согласна и даже рада буду сделать это для вас.

Крупная, полноватая Галина Захаровна изменилась за двадцать пять лет меньше, чем можно было предполагать. Ее увесистый кофр с аппаратурой был уже собран, я повесил его себе на плечо, и мы пошли к машине.

Прогнозы девушек-экскурсоводок были самые оптимистические: «Приезжайте скорее, а то прозеваете!» Тем не менее, войдя в помещение бассейна, я опять увидел все такой же бутон, правда,

четыре щели с проглядывающей в них белизной были пошире, чем в первый раз, но все же это был не цветок, а бутон.

Тут впервые подошла ко мне (без нее и нельзя было бы теперь обойтись в рассуждении фотографирования) Вера Николаевна, милая тоненькая женщина, хозяйка Виктории, то есть научная сотрудница, за которой закреплено это растение и вообще весь этот уголок водяных тропиков.

— Удивляюсь, зачем они гоняют вас сюда по утрам, — сказала Вера Николаевна, — не знают, что ли? Наверное, не знают. Экскурсии они водят по многим помещениям оранжереи и все быстрее, быстрее... Дело в том, что по Виктории можно проверять часы, она распускается в четыре двадцать.

Ну вот, опять я связан обещанием с другим человеком. Обязан отвезти Галину Захаровну домой. И Наташе будет скучно здесь: четыре часа до цветения да четыре часа во время цветения. Да и сам я, откровенно говоря, не мог в этот день распорядиться таким продолжительным временем.

Но все же особой спешки сегодня не было, и, пока Галина Захаровна ходила вокруг бассейна и взглядывала на него со всех сторон профессиональным наметанным взглядом, прикидывая точки зрения и ракурсы, я мог подробнее разглядеть растительность в этом маленьком тропическом водоеме. Первыми бросаются в глаза разноцветные кувшинки. Они здесь не как наши, желтые «кубышки», производящие несколько кургузое впечатление, и даже не как наши белые водяные лилии с коротковатыми лепестками, но изящные, умопомрачительной красоты цветы, поднимающиеся из воды на тонких стеблях. Лепестки у них длинные, узкие и заостренные, образуют... как бы это сказать... не розетку, подобно нашим кувшинкам, но бокал. Нежно-розовые, ярко-розовые, красные, лиловые,

они цвели там и сям в бассейне, причем цветы не лежали на воде, как обычно бывает у кувшинок, но отстояли от водяного зеркала, были подняты над ним, как будто специально для того, чтобы лучше в нем отразиться.

В воде плавали небольшие черепахи, и радужно поблескивали всеми цветами от синего до ярко-зеленого, от пурпурного до ярко-желтого крохотные рыбешки гуппи.

В одном месте поднимались из воды стебли лотоса с округлыми листьями, не лежащими на воде, но находящимися довольно высоко над ее поверхностью. На отдельном стебле среди этих листьев, подобно наконечнику стрелы (и очень похож на него), выступал из воды лотосовый бутон.

— Советую не полениться и приехать, когда этот бутон распустится, — сказала Вера Николаевна, — это произойдет еще не скоро, месяца через два. Он сделается большим. А цветок по красоте не уступит любому из этих, в том числе и нашей царице.

(Забегая вперед, скажу, что я ездил смотреть на лотос и тоже несколько раз. Неудача состояла в том, что в те дни, когда ему цвести, отключили по каким-то причинам подогрев воды в бассейне, и лотос, совсем уж собравшийся расцвести, остановился в стадии бутона, готового вот-вот раскрыть свои лепестки. Бутон был розовый, островерхий, достигший размеров наконечника уже не стрелы, а копья. Я, когда подошел, стал искать его глазами около воды, где он находился сначала, но, оказывается, стебель поднял его почти на метр сравнительно с тем дном, когда мы приезжали в оранжерею с Галиной Захаровной.)

Были там и еще какие-то экзотические растения с большими листьями, с лопухами, но они не цвели, и я их не запомнил. К тому же водяное чудо, ради которого мы

приехали, затмевало все и требовало смотреть лишь на него.

На воде лежали яркие свежей сочной зеленой яркостью листья, размером с обыкновенный круглый обеденный стол. Они были не овальные, не продолговатые, не сердцевидные, но именно круглые. Про наши кувшинки тоже можно огрубленно сказать, что у них листья круглые, но круглые ли они? Эти, на которые мы теперь смотрели, можно было выверять циркулем, раздвинув его на метр. Да, каждый лист был около двух метров в диаметре. Каждый лист имел по краю строго перпендикулярный заборчик высотой сантиметров около семи. Не то, чтобы край листа производил впечатление загнутого кверху, нет, лист обнесен по краю, по всей своей окружности строго перпендикулярным и, как видим, довольно высоким заборчиком.

Таких листьев на воде в тот день лежало восемь, и они занимали почти всю поверхность бассейна. Стебли расходились от одной точки радиально — ведь здесь рос один-единственный экземпляр Виктории. Я увидел, что от той же точки в воде расходятся черешки, которые не оканчиваются листом, и спросил у Веры Николаевны, что это значит.

— Обрезаем. Если не обрезать, где бы они поместились? Ведь только после того, как она выгонит двадцатый лист, начинают появляться бутоны. А всего она дала бы листьев восемьдесят.

— Какую же площадь заняли бы листья одного только экземпляра Виктории?

— Посчитайте... Если принять для удобства диаметр листа за два метра... Радиус умножьте на 3,14 (число «Пи»), значит, площадь листа получится около трех квадратных метров, да еще придется учесть промежутки между листьями... Я думаю, если бы ее не

теснить, метров четыреста под солнцем она бы себе захватила.

— Отрезаете лист за листом и куда их деваете?

— Прimitивно выбрасываем.

— Такое чудо природы?!

— Что же с ним делать? Поросят у нас нет, коровы тоже не держим. Они, ее листья, снизу в острых шипах и грубых прожилках до нескольких сантиметров толщиной. У регии весь лист снизу красного цвета, а у нашей красные только прожилки. Один из главных отличительных видовых признаков.

Однако займемся делом.

Вера Николаевна принесла большой, но легкий фанерный диск, окрашенный в зеленый цвет. Этот диск она положила на лист Виктории, и он занял как раз всю площадь листа, словно был вырезан точно по мерке.

— Для устойчивости, — пояснила хозяйка Виктории. — Считается, что лист выдерживает семьдесят килограммов, даже больше, и это правда. Но только если груз распределять ровно по всей поверхности, например, насыпать ровным слоем песку. Или положить вот такой фанерный круг, а на него уж и груз. Если же ходить по листу ногами, то, сами понимаете, он будет проминаться, прогибаться, колыхаться, зачерпнет воды и скорее всего порвется. Прочный-то он прочный, и плавучесть у него великолепная, но все же это ткань живого листа, а не какая-нибудь деревяшка. Такую девочку, как Наташа, он легко выдержал бы и без фанерки, но она испугается, если он под ней будет колыхаться и гнуться, так что давайте уж лучше с диском.

Вера Николаевна попыталась установить в воде алюминиевую стремянку в шесть ступенек, чтобы встать на нее и пересадить девочку с края бассейна на лист, но что-то не ладилось со стремянкой, тогда Вера Николаевна махнула на нее рукой, подобрала под

поясок свое легкое платье, сделав из него «мини», и так вошла в воду.

Галине Захаровне все было мало. Она и забегала отсюда, и пригибалась там, то и дело щелкая затвором камеры, и все ей было мало.

Я давно знал эту дотошность, цепкость, въедливость, а вернее сказать, добросовестность фотохудожников-профессионалов. Помню, как в Киргизии перед Тункелем прогнали отару по долине раз пятьдесят взад-вперед, пока мастер удовлетворился кадром, а молодая киргизка-учительница, которую ему хотелось снять говорящей, сто раз начинала одну и ту же фразу: «азыр арифметика»... то есть, видимо, «начинаем урок арифметики». У меня до сих пор в ушах это «азыр арифметика», хотя прошло с тех пор двадцать шесть лет.

Но Наташа вдруг сникла на листе Виктории, то ли боязно было ей там сидеть, то ли надоело. На бесконечные: «А теперь сюда погляди, деточка... а теперь сюда, деточка... Ну, взгляни, ну, улыбнись, деточка...» — она угрюмо и упрямо смотрела вниз, не поднимая своих синющих глазок. Скорее всего она боялась, хотя потом свое настроение объяснила очень просто. Будто бы на лист подтекла вода, и ей будто бы жалко было замочить свое новое платьице.

...После всех этих поездок, а вернее сказать, наскоков в Ботанический сад я понял только одно: мы живем в одном, в своем темпе и ритме, а Виктория — в своем... Нам скорее надо мчаться в магазин, в редакцию, в центр города, на встречу с друзьями, по разным делам, нам некогда или скучно стоять на одном месте и глядеть на цветок три-четыре часа, а Виктории никуда ни спешить, ни бежать не надо. У нее свое представление о времени и о смысле бытия. Значит, для того чтобы войти с ней хотя бы во внешний контакт, надо принять ее условия игры, подчиниться ее темпу и

ритму. Поэтому на третий раз я приехал к ней один, полностью освободив остатки дня и вечер, с намерением простоять около цветка столько часов, сколько понадобится.

Анекдот про японцев (действительный случай, звучащий анекдотически) стал уже общим местом. Как они привезли европейских туристов на поляну, с которой хорошо видна гора Фудзияма, и оставили их там на несколько часов. А когда туристы возроптали: «Мы приехали Японию смотреть, а не сидеть без дела на одном месте», — японцы вежливо возразили и показали программу. В программе было написано: с 9 утра до 11.30 — любование.

Так вот — любование. В этом весь секрет постижения красоты. Согласитесь, что если человека привезти на берег моря, показать ему катящиеся валы прибоя, а через минуту увезти от моря подальше — это одно. Если же человек просидит на берегу несколько часов или проживет несколько дней, то это, согласитесь, совсем другое. Все сходятся на том, что на море можно смотреть часами, равно как на огонь или на водопад. Весь комплекс моря с его синевой, запахом, шелестением или грохотом волн, игрой красок, шуршанием гальки, с необъятным простором, с кораблями, проплывающими вдали, с чайками и облаками — все это наполнит вас, очистит, облагородит, останется навсегда, чего не произойдет, разумеется, если взглянуть и тотчас уйти или увидеть из окна поезда.

Каждый раз, когда я видел что-нибудь очень красивое в природе: цветущее дерево, цветочную поляну, светлый быстрый ручей, уголок леса с ландышами в еловом сумраке, закатное небо с красивыми облаками, россыпь брусники вокруг старого пня, ночную фиалку среди берез, каждый раз, когда я видел что-нибудь красивое в природе, у меня

появлялось чувство, похожее на досаду. «Господи, — говорил я, — такое мне дано, но ведь с этим же что-то делать надо!» А в это время идешь куда-нибудь по делу, хотя бы по грибы или на рыбную ловлю, и проходишь мимо красоты с чувством неудовлетворенности и досады: что-то надо было с этим делать, раз оно тебе дано, а ты прошел мимо, не зная, что делать.

Потом я понял, что нужно: остановиться и смотреть. Любоваться. Созерцать. Остановиться не на двадцать минут (которые тоже можно считать продолжительным временем), потому что если остановишься на двадцать минут — не избавишься от зуда движения, так тебя и будет подмывать двинуться дальше, нет, остановиться перед красотой надо, не думая о времени, остановиться не меньше, чем на два часа. Только тогда красота как бы пригласит тебя в собеседники, только тогда возможен с ней глубокий духовный контакт, а значит, и радость удовлетворения.

Это касается и красоты другого порядка. С удивлением смотрю я на толпы туристов, поспешно и в тесноте пробегающих по залам картинной галереи. Что же можно увидеть, что же можно постичь? Название картин? Рамы? Внешний сюжет? Суриков часами сидел в одиночестве перед грандиозным полотном А. Иванова в Третьяковской галерее. Павел Дмитриевич Корин проводил в неподвижности часы перед полотнами Сурикова, в частности перед «Боярыней Морозовой», а также перед мастерами Возрождения Италии.

Однажды, будучи еще студентами, мы с товарищем (теперь известным писателем) провели эксперимент, уговорились и простояли полдня перед картиной Левитана «Над вечным покоем», хоть и до этого знали ее наизусть. В конце концов я почувствовал в себе поднимающуюся волну тревоги, любви, тоски, безотчетной готовности к любому свершению. В это

время товарищ повернулся ко мне, и я увидел в его глазах слезы. А сколько раз до этого останавливались перед картиной, говорили: «Да, здорово» — и бежали дальше?

Сергей Никитин, писатель, живший во Владимире, рассказывал мне о его, так сказать, отношениях со знаменитой церковкой Покрова на Нерли.

«Первый раз мы приехали к ней человек пять: Сергей Ларин, Никифоров, другие наши писатели. Захватили, конечно, выпить, два пол-литра. Расположились на травке, выпили, закусили. Ну, друзья, поглядели, хватит, поехали домой. Поставили галочку в уме: видели Покров на Нерли. А теперь я приезжаю один. Посидишь часа три-четыре напротив нее на бережке, чтобы и отражение ее тоже видеть, и словно светлой водой омоешься. Я постепенно к этому пришел, а сперва все наскоком. Привезешь гостя какого-нибудь показать, обойдем вокруг нее с разных сторон, взглянем, и делать больше нечего — обратно в город. А теперь как на свидание к ней езжу, когда на душе тяжело или тревога какая, или неудача... Красота душу лечит...»

Тем более все это касается древнерусской живописи. «Не понимаю я красоты этих икон и никогда не пойму!» — то и дело слышишь от людей, не чуждых как будто искусству, культуре, образованных, по крайней мере. Не угодно ли часы, часы провести перед одной-единственной иконой (да еще учтя, что художник создавал ее в расчете на полумрак и специальное освещение — на огонек лампы или свечи), вместо того чтобы категорически заявлять об отсутствии в иконе красоты и духовности. Надо дожидаться — повторяю, — когда красота сама пригласит тебя в собеседники, а не скользнуть по ней суетливым, поспешным взглядом.

В четыре часа пополудни Вера Николаевна ввела меня в помещение к Виктории. С нами вошла, и еще одна сотрудница оранжереи, Татьяна Васильевна. Втроем мы остановились на краю бассейна с той стороны, с какой хорошо был виден бутон. Он находился от нас метрах в четырех-пяти. Строго вертикально и как бы даже напряженно поднимался он из воды, округлым основанием касаясь ее зеркала, а острым концом глядя в тусклый стеклянный потолок. Край гигантского листа Виктории находился совсем близко от бутона, так что можно было предположить, что если цветок раскроется во весь свой тридцатисантиметровый размах, то одной стороной ему придется упереться в край листа, в его вертикальную стенку и, видимо, наклониться. Если это произойдет, то наклонится он в нашу сторону. Но пока ничто не мешало бутону стоять четко и прямо.

Бутон в этот раз набух больше, чем в предыдущие мои приезды, так что щели между чашелистиками раздались до сантиметра.

С какой быстротой ни раскрывался бы на наших глазах цветок (розы, одуванчика, любого другого растения), все равно глазом этого движения не увидишь, как не увидишь, например, движения часовой стрелки. Всего час нужно пройти ей от цифры до цифры (очень заметное расстояние), и вы видите, что она это расстояние прошла, но движения ее как такового вы все же не видели, хотя бы и смотрели на циферблат неотрывно. Точно так же было и с нашим цветком. Я не видел, не улавливал, как двигаются чашелистики и двигаются ли они, но я видел результат их движения: белые щели между ними расширялись и расширялись.

Я всегда знал, что растение — живое существо, которое нарождается, растет, вступает в пору зрелости, цветет, оплодотворяется, плодоносит, стареет и, наконец, умирает. Но я впервые увидел, что передо

мной действительно живое, шевелящееся существо, шевелящееся не от ветра, а само по себе.

Сработал некий механизм, откуда-то, каким-то образом поступила команда, и части цветка пришли в движение. Я посмотрел на часы, на них было четыре двадцать. Не скрою, что озноб и трепет пробежали по мне, словно я прикоснулся к какой-то великой священной тайне.

— Но почему, почему именно в это время? — спросил я ученых-ботаников, разделявших со мною созерцание Виктории. — Теплее в оранжерее не стало. Часто ведь именно теплота включает в растениях разные механизмы. Светлее или темнее тоже не стало. Что же сработало, что дало сигнал, где это реле, которое включило Викторию, почему именно в это время?

— Так уж она себя ведет, — замечательно ответила Вера Николаевна. Эту фразу в тот день я услышу еще несколько раз.

— Но вы же ботаники, ученые, скажите мне — где? Я понимаю: запрограммированность, наследственность, генетический код... Но где? У нас, у людей, хоть мозг, на который можно сослаться. Но вот — листья, вот — стебли, корни, бутон. Семечко, в котором, можно бы предполагать, упакована программа дальнейшего поведения растения, семечко это давно исчезло, проросло, остатки его сгнили, семечка больше нет, скажите мне, где скрыта программа! Где руководящий центр? Откуда пришла команда чашелистикам прийти в движение? Почему после двадцатого листа? Почему в этот час? Почему, где и как?

— Вы можете задать нам еще тысячу «почему», «где», «как», мы все равно ничего не сможем ответить. Так уж она себя ведет.

— Ведь даже если предположить, что в природе существует какой-то высший или сверхвысший разум (чего мы с вами, разумеется, предположить не можем),

все равно нельзя же предположить, что он управляет и командует каждым экземпляром растения в отдельности. Чепуха, вздор. Но тогда почему, где и как? Извините меня, но я не нахожу для всего этого другого определения, кроме короткого слова — чудо.

Между тем четыре зеленых чашелистика отогнулись настолько, что сверху острые концы их разомкнулись и в образовавшееся пространство высунулись белоснежные концы лепестков, собранных в плотную щепоть, в столбик. Причем лепестки эти, собранные в щепоть, оказались вдруг значительно длиннее чашелистиков, в которые они были до сих пор упакованы.

Был момент, когда «упаковка» отогнулась уже очень сильно, обнажив лепестки во всей их белизне и величине, а лепестки между тем все еще оставались собранными вместе, словно бы слиплись. Вдруг весь этот столбик из лепестков явственно вздрогнул, встряхнулся и разределся. Тотчас три лепестка с одной стороны и один лепесток поодаль первыми отделились от своих братьев, отлипли и отогнулись на сантиметр-другой. Подобно все той же часовой стрелке, они незаметно по движению, но заметно по результатам движения начали отгибаться все больше и больше, стремясь принять горизонтальное положение и догнать зеленые чашелистики. И другие лепестки, то один, то сразу два, стали отделяться от общего пучка и отгибаться вслед за первыми.

Где-то в научной даже статье я однажды прочитал, что цветок Виктории регии напоминает цветок магнолии. Вот уж чего он не напоминает, так именно цветок магнолии, если не считать, конечно, что оба большие и белые. Цветок магнолии — белая фарфоровая чаша из нескольких крупных лепестков, а у Виктории этих лепестков десятки (около семидесяти), они длинные и сравнительно узкие, ложатся слой на

слой, причем каждый верхний слой покороче нижнего, так что самые длинные лепестки — это те, что первыми легли на зеленые чашелистики. Кроме того, и чашелистики и лепестки цветка Виктории, можно сказать, переусердствуют в своем распускании и перегибаются за горизонтальную плоскость, несколько выворачиваются. Весь распутившийся цветок напоминает не чашу, а тарелку, перевернутую вверх дном.

— Она сейчас усиленно дышит, — комментировала события хозяйка Виктории. — То есть в несколько раз интенсивнее обычного.

— Еще бы... ведь это любовь, акт любви.

— Температура цветка сейчас градусов на десять выше окружающего воздуха и остального растения.

— И вы по-прежнему будете утверждать, что она бесчувственна, что она не живое существо?

— Мы этого и не утверждаем. Как это она не живая, если цветет? Вон еще отгибаются лепестки...

— А кто ее опыляет?

— У нас никто. Сначала в оранжерее мы опыляли ее кисточкой, но теперь и этого не делаем. Все равно пыльца каким-то образом попадает на пестик и оплодотворение происходит, получаются семена. На родине, на Амазонке, Виктории помогают опыляться насекомые, конечно, ночные бабочки, ночные жуки. Ведь недаром она распускается перед вечером, в косых лучах солнца. Это ночной цветок. Говорят, что множество жуков наползает в цветок, а потом перед утром он быстро закрывается и захлопывает жуков, как в ловушке.

— А потом?

— Потом, на другой день, в те же предвечерние часы цветок раскрывается вторично, только уже не белый, как сейчас, а розовый. Жуки вылетают на свободу.

— Гуманно с ее стороны. Царица Тамара, как помним, после брачной ночи женихов велела сбрасывать в Терек. Да и Клеопатра... что-то похожее рассказывают про нее.

...Не перед телевизором, не на стадионе мы сидели и не в кино, а между тем часы пролетали незаметно и прошло уже три часа. Рабочий день в оранжерее и вообще в Ботаническом саду давно закончился, все служащие ушли домой. Пришла ночная дежурная и несколько удивилась нашему позднему пребыванию здесь. Татьяна Васильевна несколько раз порывалась сходить к телефону, позвонить домой о том, что задерживается, да так и не оторвалась от цветка.

Вечернее безлюдье и тишина придавали событию некоторую таинственность, интимность. Распустившийся огромный цветок еще более прекрасным отражался в воде. Действительно, ему пришлось упереться в край листа и несколько наклониться в нашу сторону, как бы доверительно и щедро показывая себя.

— Смотрите, он розовеет! Он явственно розовеет.

— Посмотрели бы вы на него завтра. Он будет ярко-розовый.

Белое, начинающее розоветь живое чудо покоилось на воде и отражалось в ней. На улице поверх стеклянного потолка стало заметно темнеть. Но здесь, в укромном зеленом уголке, от распускающегося цветка стало как будто светлее. Рядом с ярким белым цветком словно бы ярче сделалась зелень листьев. Вдруг все помещение под стеклянным потолком наполнилось дивным ароматом — Виктория царственная, Виктория амазонская, Виктория круциана (будем точными) расцвела.

Мы простояли над ней еще около часа. Уходить не хотелось. Сообщницы моего созерцания и любования, постоянные сотрудницы, научные работники

Ботанического сада и этой оранжереи, признались мне, что они впервые так вот, по-настоящему разглядели Викторию и прониклись ее красотой.

— Все на ходу, на бегу, — объяснила Вера Николаевна. — Лепестки сосчитать — пожалуйста, кисточкой опылять — пожалуйста, отцветший бутон в воде марлей обвязать, чтобы семена потом не рассыпались, — пожалуйста, лишние листья отрезать и выбросить... Хлопочешь, бегаешь, суетишься. Взглянешь — еще не распустилась, прибежишь через два часа — распускается, бежишь дальше... Очень, очень мы вам благодарны!

— Вот так новости! Это я вас должен благодарить.

...С неохотой оторвались мы от созерцания чуда. Едва ли не на цыпочках и разговаривая едва ли не шепотом, тихонько пошли из оранжереи.

— Значит, утром, вы говорите, она закроется, а к вечеру раскроется снова, но будет уже не белая, а розовая.

— Ярко-розовая.

— А потом?

— Закроется еще раз и расцветет на третий день багрово-красная. И это будет конец цветения. Цветок ляжет набок и начнет погружаться на дно, чтобы там, у дна, вызревали плоды.

— Белый цветок первого дня закрывается, розовый цветок второго дня закрывается, а красный последнего дня цветения? Прежде чем погрузиться в воду, он закрывается тоже?

— Иногда закрывается, а иногда нет.

— Почему?

Вера Николаевна пожала плечиками.

— Так уж она себя ведет.

* * *

Извлечения

К. Тимирязев. «Жизнь растений»

«Значит, лист, в котором мы признали уже единственную естественную лабораторию, где заготавливается вещество на оба царства природы, тот же лист и в том же самом процессе усвоения углерода запасаает на них энергию солнечного луча, становится, таким образом, источником силы, проводником тепла и света для всего органического мира».

«Ни один растительный организм не испытывал на себе человеческой несправедливости в такой степени, как лист...

Эта вековая несправедливость, эта черная неблагодарность освещена даже поэзией. Каждый из нас, конечно, еще с детства знает басню Крылова «Листы и корни», и, однако, эта басня основана на совершенно ошибочном понимании естественного значения листа. Крылов оклеветал в ней листья, и потому в качестве ботаника, значит, адвоката растения, я возьму на себя их защиту и попытаюсь предложить взамен крыловской другую басню, конечно, менее поэтичную, но зато более согласную с природой и заключающую более строгую мораль. Смысл крыловской басни всякому известен. Корни — это те,

Чьи работают грубые руки,
Предоставив почтительно нам
Погружаться в искусства, в науки,
Предаваться страстям и мечтам.

Листья — это мы, «погружающиеся в искусства, в науки», мы, пользующиеся воздухом и светом и на досуге «предающиеся страстям и мечтам». Признавая только за корнями трудовую, производительную

деятельность, Крылов видит в листьях один блестящий, но бесполезный наряд и, выставя им на вид всю пустоту их существования, требует от них, чтобы они хоть были благодарны своим корням.

Но справедливо ли такое мнение? Точно ли листья, настоящие зеленые листья, существуют для того только, чтобы шептаться с зефирами, чтобы давать приют пастушкам и пастушкам? Точно ли листья одной благодарностью в состоянии платить корням за их услуги? Мы знаем, что это — неверно. Мы знаем теперь, что лист не менее корня питает растение. В прошедшей беседе мы видели, что случилось с листьями и всем растением, которым корни отказали в том железе, которое они с таким трудом добывают из земли. В следующей мы увидим, что случилось бы и с корнем, если бы ему листья отказали в той воздушной, неосязаемой пище, которую они добывают при помощи света.

Итак, листья Крылова совсем не похожи на настоящие листья, если сравнение с его бесполезными листьями может быть только позорно и оскорбительно, то сравнение с настоящими листьями вполне лестно.

Но если изменяется содержание басни, изменяется и ее мораль. Какую же мораль выведем мы из нашей басни? Мораль эта может быть одна. Если мы желаем принять на свой счет сравнение с листом, то мы должны принять его со всеми его последствиями. Как листья, мы должны служить для наших корней источниками силы — силы знания, той силы, без которой порой беспомощно опускаются самые могучие руки. Как листья, мы должны служить для наших корней проводниками света — света науки, того света, без которого нередко погибают во мраке самые честные усилия.

Если же мы отклоним от себя это назначение, если свет наш будет тьма или если, подобно вымышленным листьям баснописца, мы не будем платить нашим

корням за их услуги услугами же, если, получая, мы не будем ничего давать взамен, тогда мы будем не листья, тогда мы не вправе будем величать себя листьями, тогда в словаре природы найдутся для нас другие, менее лестные сравнения. Гриб, плесень, паразит — вот те сравнения, которые в таком случае ожидают нас в этом словаре. Такова мораль, которую мы можем извлечь из знакомства с листьями, не теми, которые создало воображение поэта, а настоящими, живыми листьями, — мораль, быть может, более суровая, но зато согласная с законами природы».

«Мы с удивлением открываем, что явления движения не только не отсутствуют, но даже очень распространены в растительном мире».

«Но если растение способно двигаться, то не может ли оно и чувствовать? Если под чувствительностью разуместь отзывчивость к раздражению, то есть раздражительность, возбудимость, то мы должны признать эту особенность и за растением».

«Заставляя растение вдыхать пары эфира или хлороформа, мы можем анестезировать его точно так же, как анестезируем человека во время тяжелой хирургической операции. Для этого стоит только горшок с мимозой покрыть стеклянным колпаком и под этот колпак положить губку, смоченную эфиром или хлороформом. Пробыв некоторое время под колпаком, мимоза утратит способность к движению: как бы мы ее ни раздражали, она не станет складывать своих листочков, но, простояв несколько времени на воздухе, не зараженном вредными парами, она вновь приобретает свою чувствительность. Чтобы опыт удался, нужно только не оставлять растения слишком долго под влиянием анестезирующего вещества, иначе

оно более уже не поправится, а погибнет безвозвратно. Но то же оправдывается и над человеческим организмом...»

«Еще один последний вопрос: обладает ли растение сознанием? Но на этот вопрос мы ответим вопросом же: обладают ли им все животные? Если мы не откажем в нем всем животным, то почему же откажем в нем растению? А если мы откажем в нем простейшему животному, то, скажите, где же, на какой ступени органической лестницы лежит этот порог сознания? Где та грань, за которой объект становится субъектом? Как выбраться из этой дилеммы? Не допустить ли, что сознание разлито в природе, что оно глухо тлеет в низших существах и только яркой искрой вспыхивает в разуме человека? Или, лучше, не остановиться ли там, где порывается руководящая нить положительного знания, на том рубеже, за которым расстилается вечно влекущий в свою заманчивую даль, вечно убегающий от пытливого взора беспредельный простор умозрения?»

В детской книге «Увлекательная астрономия», написанной В. Н. Комаровым, есть одно замечательное место. Речь идет о возможных встречах разных цивилизаций, отстоящих друг от дружки на миллиарды световых лет, и о том, смогут ли эти цивилизации, встретившись, понять друг друга. Автор рассуждает логично:

«Представьте себе, что разумные обитатели какой-либо планеты на своем корабле прилетают в нашу Солнечную систему и совершают посадку на поверхности естественного спутника Земли — Луны. Медленно шагают они в своих причудливых скафандрах среди лунных гор и долин, внимательно разглядывая незнакомую местность. Но что это там впереди? Какая-то странная конструкция, напоминающая раскрывающийся лепесток. Внутри лепестка контейнер

непонятного назначения. В его верхней части прозрачный глазок. К небу торчат какие-то гибкие прутики. Что это? Причудливая игра природы? Один из ее удивительных капризов!

Вы, конечно, догадываетесь, — продолжает В. Н. Комаров, — что речь идет о советской космической станции «Луна-9». Но и космонавты с другой планеты не верят в чудеса. А случайное объединение атомов и молекул в подобный аппарат было бы самым настоящим чудом. Вывод один: здесь побывал разум. Этот аппарат — посланец разумных существ. Он сделан их руками...

Точно так же, если бы мы с вами, — заканчивает автор «Увлекательной астрономии», — высадившись на поверхность незнакомого небесного тела, увидели там, скажем, автомобиль, мы, без всякого сомнения, могли бы сказать, что это — проявление разума».

Можно предположить и такую ситуацию. Пришельцы из других миров высадились на Землю. Космонавты видят, стоит конструкция-аппарат. Прямой стержень, достаточно прочный, чтобы поддерживать всю конструкцию, и достаточно гибкий, чтобы не ломаться при ветре и при других внешних случайных воздействиях. На стержне укреплены горизонтальные плоскости, обращенные к солнцу, к свету. Нетрудно догадаться о назначении плоскостей: они улавливают солнечную энергию. Разумные космонавты тотчас обнаруживают, что солнечная энергия, уловленная хитроумными приспособлениями (плоскости способны менять свое положение в пространстве, дабы всегда быть обращенными к свету), тотчас начинает путем фотосинтеза перерабатываться в сложнейшие органические вещества, которые распределяются по нужным местам. Внутри аппарата циркулирует жидкость. В определенный момент аппаратом производится небольшой, совсем уж чудесный

аппаратик, которому задается точная программа на воспроизведение будущего нового аппарата.

Космонавты видят, что вся конструкция и все действия незнакомого аппарата основаны на точных законах математики, геометрии, механики, химии, физики, что аппарат умеет взаимодействовать с космосом (собственно, на этом взаимодействии и основана его деятельность), с Землей, с окружающей средой, с другими, похожими на него аппаратами, что он не только взаимодействует со средой, но и организует ее в своих интересах.

Какой же вывод сделают разумные обитатели космоса, увидев наше земное растение?

Нахожусь во власти странного ощущения. Идя по луговой тропинке, по меже, по лесной опушке, по всякой земной дороге, временами воображаю себя пришельцем из какой-нибудь далекой галактики и с первозданным удивлением разглядываю конструкции и модели, называемые здесь то деревом, то травой, то лютиком, то ромашкой, то подсолнухом, то березой. В каждой из этих моделей я готов увидеть великое чудо. Но в чудеса я не верю, и тогда мне остается только одно: согласиться с воображаемыми космонавтами из книги В. Н. Комарова и предположить, что здесь, в этих сложных и во многом еще не понятных мне, не изученных мною, таинственных для меня зеленых сооружениях, а вернее, в зеленых живых существах, действительно побывал разум, а если по науке — природа, эволюция, жизнь.

Возвращаясь к первым строкам этой книги, приходится признать еще раз, что отсутствие полезных, конкретных знаний не полностью восполняется наивным удивлением и романтическим восторгом. Но без способности удивляться и задумываться иногда невозможно и узнать.

Мы остановились на минуту перед великим чудом
земного растения, мы любуемся им, мы вспоминаем
слова одного философа, кажется, Джона Рескина:
«Ньютон объяснил (по крайней мере так считают),
почему яблоко упало на землю. Но он не задумался над
другим, бесконечно более важным вопросом: а как оно
туда поднялось?»

1972

notes

Примечания

Приводя здесь выдержки из писем моего любезного корреспондента, я оставляю на его совести подобные исторические экскурсы и оценки, некоторые рискованные суждения (не о травах), а также эмоциональные сопоставления русского народа с другими просвещенными народами, мне лично не свойственными.

Здесь и далее имеется в виду половая любовь, а не любовь как философская, нравственная, религиозная и т. п. категории.

Спешу поправить Борахвостова. Я читал об этих опытах индийских ботаников в наших газетах. Индийские мелодии не имеют никаких преимуществ перед европейскими. Наиболее воспринимаемой и благотворной для трав оказалась музыка Мендельсона, Штрауса и Чайковского. Джазовая музыка производит на травы угнетающее действие.

Выписано из книги Зенона Косидовского «Когда солнце было богом»

Золотницкий Н. Ф. Цветы в легендах и преданиях.
Изд. А. Ф. Девриена.

В слове «полнокровная» нет никакой метафоры. Сейчас найдена и доказана идентичность растительного хлорофилла и животного гемоглобина.

Тем не менее честь названия вида принадлежит другим ученым. Англичанин Роберт Герман Шомбург назвал ее *Nymphaea victoria* (нимфея Виктория), а Линдей в 1837 году поправил Шомбурга и дал виду окончательное название — Виктория regia — *Victoria regia*, то есть Виктория царственная, Виктория королевская. Виктория — в честь английской королевы, а царственная — по существу. Иногда называют её *Victoria amazonica* (амазонкская), по месту обитания и обнаружения.

Объяснимся и уточним. В Московском ботаническом саду культивируется в неволе, то есть в оранжерейных условиях, Виктория круциана (*Victoria cruziana*), другой вид Виктории регии, отличающийся от нее незначительными признаками.

Существует множество разновидностей березы, картошки, несколько разновидностей льна (голубое цветенье) или белого гриба. Однако, если бы продемонстрировать на другой планете, то на любую разновидность смотрели бы обобщенно, как просто на березу, на картошку, на лен, на белый гриб. Право же, Виктория круциана отличается от Виктории регии не больше, чем белый гриб еловый от белого гриба борового или лен-кудряш от льна-долгунца, а может, даже и меньше.

Мы, неботаники, привыкли к сочетанию слов Виктория региа, и писать все время Виктория круциана даже сопротивляется рука. В то же время называть Викторию круциану Викторией регией было бы ошибкой, неточностью. Поэтому в дальнейшем в очерке будем называть растение просто Викторией.